

Станислав Росовецкий

САМОЗВАНЕЦ

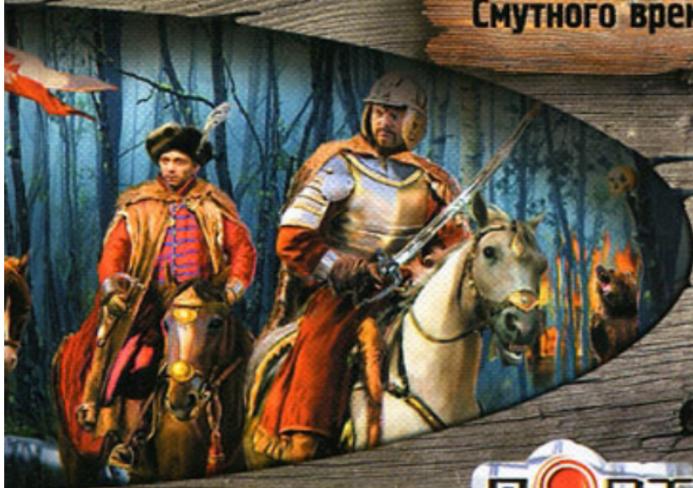
КРОВАВАЯ МЕСТЬ

Начало XVII века. Смутные времена, невеселые. Кто с мечом, тот и прав. Войско Лжедмитрия идет на Москву, простой народ все больше по лесам прячется, а кто не спрятался... тот и виноват.

Но есть в русских лесах и другая сила. Нечистая. И когда враги сожгли село колдуна Солуна, помощники у него нашлись быстро. Вместе с людьми в погоню за убийцами бросились ожившие мертвецы, прочая лесная нечисть, и страшной была их месть...

**Настоящие
хроники
Смутного времени**

фантастика нашего тысячелетия



ПОРТАЛ

Станислав Росовецкий

Самозванец. Кровавая месть

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3944185

Самозванец. Кровавая месть / Станислав Росовецкий: АСТ, Астрель-СПб; Москва, СПб.; 2011

ISBN 978-5-17-075297-3, 978-5-4215-2492-2, 978-5-9725-2104-3

Аннотация

Начало XVII века. Смутные времена, невеселые. Кто с мечом, тот и прав. Войско Лжедмитрия идет на Москву, простой народ все больше по лесам прячется, а кто не спрятался... тот и виноват.

Но есть в русских лесах и другая сила. Нечистая. И когда враги сожгли село колдуна Сопуна, помощники у мстителя нашлись быстро. Вместе с людьми в погоню за убийцами бросились ожившие мертвецы, прочая лесная нечисть, и страшной была их месть...

Содержание

Пролог	4
Глава 1	38
Глава 2	50
Глава 3	63
Глава 4	79
Глава 5	92
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Станислав Росовецкий

Самозванец.

Кровавая месть

Пролог

Город Острог на Волыни

7 октября 1604 года

В закутке между Татарской башнею и крепостной стеной крепко воняло падалью и застарелым дерьмом, однако именно здесь собрались шестеро надворных казаков князя Острожского. Предводитель заговорщиков, самозванный атаман Мамат полагал, что в этом месте их никто не сможет подслушать. А им требовалось дело, о котором украдкой перешептывались и о котором порой осмеливались намекнуть друг другу при посторонних, обсудить, наконец, прямо, определиться и проголосовать, как это у настоящих, вольных казаков водится.

Круглолицый Каша, едва уселся на камень, тотчас же достал из пазухи палочку, из ножен на поясе – дешевый кинжал с роговой рукояткой и принялся обстругивать. Пояснил своим тонким голоском, не дожидаясь, пока спросят:

– Всегда полезно пару осиновых колов иметь при себе. Ес-

ли упырь нападет на тебя спереди, глядишь, и успеешь воткнуть ему кол в сердце.

– А если сзади?

Это Лезга осведомился. На что Каша только голову склонил и руки развел: в правой кинжал, в левой – уже округлившаяся и побелевшая с одного конца палочка.

Мамат решил, что пора брать быка за рога:

– Панове, если бежать, так нынче ночью. Второй такой случай нам доля не скоро подарит.

– А что, Мамат, об измене князю станем думать, а карального не поставим? – мрачно прогудел Тычка.

– Дело говоришь, – кивнул Мамат. – Так, может быть, ты и постоишь, пане Тычка?

– Для товарищества могу и постоять, да пусть уж лучше Лезга... пан Лезга. Он услышит, как жук навозный ползет, а уж как пьяный пан сотник к нам подкрадывается – и подавно.

– Ладно, если для товарищества, я постою, – легко согласился поджарый и худой Лезга, поднялся с камня и скрылся за углом, и сразу же оттуда удивленно: – Тю, а я сразу не признал ее! Это же Налетка, любимая гончая сука его сиятельства, светит здесь ребрами!

– Знать, приползла сюда, в закуток, подыхать, – кивнул черной головой Мамат. – И мы здесь подохнем, панове, в нищете и ничтожестве, если сами не дадим себе рады. Князь Константин Константинович вельми состарился, сей разжиревший котяра уже мышей не ловит. Нынешним летом ка-

кая его сиятельству удача привалила – сам московский царевич Димитрий собственной персоной у него гостил! Вот и послал бы вместе с ним на Москву свое надворное войско – и сам бы озолотился, и мы бы все разбогатели в Московщине. Нет, остерегся старый вояка и даже тех своих шляхтичей, что просились уйти с царевичем, не отпустил. Теперь мы, панство, сами уйдем вдогонку за царевичем, не побоимся. Я все придумал.

– Постой, друг Мамат, постой! Что-то я не пойму, – это Бычара, рыжим волосом обросший мужик без шеи, забормотал, обводя выпученными глазами товарищей. – С чего бы это вдруг ты панами нас величаешь? И что это еще за новость – бежать сей ночью? А почему бы не дожждаться, пока князь Константин Константинович не вернется из Заславля? А тогда и ударим его сиятельству челом.

Казачи быстро переглянулись. Известное дело, Бычара придурковат, однако это лучший стрелок не только среди казаков, но и во всем надворном войске князя Острожского. Хорошо иметь такого рядом в опасном походе! Вздохнул Мамат, пояснил мягко:

– Как сбежим, станем вольными людьми, а в Речи Посполитой каждый вольный человек сам себе пан. К тому же придумали мы в походе выдавать себя за запорожских казаков, а у запорожцев такие всадники, как мы, с копьем, самопалом и саблею, называются товарищами. В королевском же войске товарищами служат шляхтичи. Так чем мы тебе будем

не паны, не рыцари? А насчет упасть князю в ноги... Если, друг ты мой Бычара, он шляхтичей своих не отпустил с царевичем, так чем ты их лучше?

– Хороши из нас запорожцы, – пропищал тонким, не мужским вовсе голоском Каша, – все в одинаковых лазоревых кафтанах да в лазоревых же шапках с пером.

– Да думал я про то, думал, – пробормотал Мамат и с хрустом прошелся пальцами по щетинистой щеке. Он брился с утра, однако обрастает черной щетиной с невероятной скоростью, а бороду ему не позволяла завести служба в надворных казаках. – Думал я... Придется сбить замок с княжеской кладовой, одеться по-человечески, в кунтуши да в шубы, а лазоревое все бросить там. Ляшские еще хохлы с голов сбрить да оселедцы оставить – то уж по дороге.

– Кто в караул становится у кладовой в Мурованной веже? Ты ведь, пан Скрипка? Тебе и карты в руки, – пропищал Каша.

– Да как же это – ограбить княжескую кладовую? – Самый молодой, тонкоусый казак побледнел. – Тогда ведь нам не возвращаться уже! А у меня в пригороде дивчина...

Мамат собрал во рту слюну и плюнул, стараясь попасть в жука-навозника, ползущего к сапогу Тычки. Пояснил неохотно:

– По-твоему, лошади, седла да оружие у нас не княжеские? Жаль, что на лучших конях шляхта ускакала, а то поменяли бы своих лошадок. Возврата нам все едино нет. А

дивчина – что дивчина? У меня, может, жена с детьми останется, да я не сцу, пане Скрипка. Разве в Московии мы лучших не найдем?

– Я тогда не поеду, пан Мамат, – глядя в землю, заявил парубок. – Мы с Софийкой хотим пожениться.

– Вольному воля, – Мамат глядел в землю, соображая. – Значит, с тобою мы позднее разберемся, Скрипка.

– Что?!

– Да не дергайся ты! – Это Каша скривил в ухмылке свое лицо, круглое, как полная луна. – Если бы атаман замыслил с тобою по-плохому разобраться, он бы тебе не сказал.

– А то как же, – по-волчьи осклабился в ответ атаман. – И сделаем мы так...

– У меня тоже дивчина, – Бычара перебил его обиженным басом. – И я тоже, может статьса, жениться хочу.

Козаки весело переглянулись. Мамат снова сплюнул и махнул рукой. Каша, похихикав, заговорил серьезно, с почтением:

– Прости, друг, но ты нас и в самом деле рассмешил. Если ты Марю Горчакивну к земле силою нагнул, так это еще не значит, что она теперь твоя дивчина.

– Я же сказал, что женюсь, стало быть, покрою грех...

– Да очень нужен богатею Горчаку такой зять! Я слышал краем уха, что он только и дожидается возвращения князя, чтобы на тебя жалобу подать. А там уж сам знаешь...

И взоры казаков дружно сошлись на бурьяне, что рос у

глыб дикого камня, которыми тут Татарская башня уходила в землю. Именно там, за стеной, в глубоком подвале отец старого князя Константина Константиновича устроил темницу, и с тех пор она редко когда пустовала.

– А я слышал, что Горчак уже нанял у кузнецов их молодобойцев, чтобы еще до приезда его сиятельства тебе ребра поломали, – промолвил Тычка.

Тут Бычара вскочил на ноги и ухватился за рукоять сабли:

– А вот это они видели?

– Подстерегут, устроят тебе темную, не поможет тогда железка, – отмахнулся от него Мамат. – Да садись ты, не маячь перед глазами! Нам есть еще о чем подумать. Кто из вас, панове, имеет чего сказать? Кому дать слово?

– «Кому дать слово? Кому дать слово?» – Это Каша передразнил Мамата, рассеянно наблюдая, как Бычара снова усаживается на свою стопу кирпичей. – Тебе, вижу, не терпится атаманствовать. Да стяг тебе в руки, распорядись! Только я так смекаю, что нам стоит как можно скорее присоединиться к какому-нибудь отряду, к немцам, к ляхам или к тем же запорожцам. Сейчас многие воители примутся догонять войско царевича, и вместе будет безопаснее. Да и знать нас в дороге будут по чужому начальнику, а ты уж атаманствуй над нами, коли желаешь.

– Спасибо за позволение, – сверкнул глазами на него Мамат. – Только атамана мы выберем по всем правилам, как только обо всем договоримся и проголосуем, бежать нам или

оставаться. А бежать, я думаю, таки придется. Для Бычары это единственное спасение, а я Рувиму, ростовщику проклятому, крепко задолжал...

– Я тоже, – ухмыльнулся Лезга. – Придется Рувимчику подождать – зато проценты какие нарастут, уписаться можно! Ох, еще подергает себя христопродавец за седые пейсы!

– Договоримся, я сказал. Кто стоит ночью на карауле у Луцкой браны, ведь ты, Лезга? Через эти ворота и уедем, а там круг сделаем. А ты, Скрипка, станешь у Новой башни, где мне приказано караулить, и скажешь утром сотнику, что я тебя попросил заместиться...

– Спасибо, атаман, – поклонился молодой казак. – Вечно за тебя буду Бога молить. А что знал о вашем побеге, никому и словом не обмолвлюсь.

Каша крякнул значительно. Потом обвел товарищей долгим взглядом.

– Поступим хитрее. Ты, друг Скрипка, сотнику про нас ничего не говори, но через пару дней пусти слушок, будто мы сбежали на Запорожье, в Сечь.

– Вижу я, товарищи, что вы все крепко обмозговали, – прогудел Бычара. – Тогда зачем же нам уходить тихо, хвосты поджавши? Из кладовой княжеской возьмем не только одежду, но и чего поценнее, врагам своим, тому же вылупку Горчаку, подпустим красного петуха! А пана сотника я вот этими своими руками повешу на воротах. Он ведь, подлюка, к ночи и лыка вязать не будет.

Каша переглянулся с Маматом и запищал:

– Вот тогда-то князь и пустит за нами погоню! Обязательно! Того же пана Маршалка пошлет и накажет вернуть нас живыми или мертвыми! А из-за дюжины одежек, ну из-за какого-никакого там припаса на пятерых, из-за этих наших кляч его сиятельство заводиться не станет и, очень на то надеюсь, решит, что гнаться за нами себе дороже обойдется.

Мамат добавил деловито:

– Правильно. И по землям Киевского воеводства проедем тихонько. Зато за московской границей – вот где разгуляемся! Там ведь такая же неразбериха пойдет, как у нас было в казацкую войну, когда казаки кивали на ляхов, ляхи на казаков, а лихие ребята и повеселились, и обогатились сказочно.

– А я еще насчет пана сотника хочу сказать, если мне позволит панство, – похоже, Каша решил оставить за собою последнее слово. – Никак нельзя нам его вешать на воротах. Потому как может сделаться упырем, оживет и поедет за нами. Не успокоится тогда, пока не высосет кровь из нас всех. А что у пана сотника в роду имелись упыри, он сам под пьяную лавочку рассказывал.

Краков, столица Речи Посполитой

1 октября 1604 года

Преданно поедая глазами отца Клавдия Рангони, нунция апостольского престола в Кракове, его собеседник, замухрышка-иезуит лет тридцати, думал о том, что братьям-бе-

недиктинцам всегда недоставало понимания божественной гармонии и соразмерности, да какой там еще гармонии – просто хорошего вкуса. Ведь черная ряса и грубые, на босу ногу, сандалии католического вельможи весьма нелепо смотрятся не только под его обрюзгшим лицом античного сенатора, но и на фоне кричащей роскоши кабинета.

– Да ты, я вижу, не слушаешь меня, брат Игнаций, – поднял брови отец Рангони.

– Разве мог я себе позволить не внимать тебе, господин пречестный отец? – встрепенувшись, ответил иезуит тоже по-латыни. – Ты говорил о том, что моя миссия весьма опасна, и я пытался уразуметь глубинный смысл твоих мудрых слов.

– Довольно льстить! – прикрикнул нунций. – Только мое время лестью отнимаешь! Главная опасность для тебя вот какая. Знай, что в Московии особым царским указом въезд монахов твоего ордена запрещен. Нарушив указ, ты попадешь в большую беду, потому что в этой варварской стране иностранцы, находящиеся на ее земле, оказываются в полной власти туземного тирана. Они столь же бесправны, сколь и московиты. Исключение сделано только для членов посольств... Кстати, я предпочел бы, чтобы ты называл меня «падре».

– Я понял... Я понял, падре.

– Поэтому вот это мое послание, – и падре Рангони поднял за край со стола и вернул на место неказистый пакетик.

Без надписей, он был заклеен со всех сторон, а не запечатан, как положено, красным воском, – для тебя самого лучше всего было бы передать московскому царевичу Деметриусу еще до того, как он пересечет границу Московского государства. Это для тебя было бы безопаснее, для тебя лично. Для матери же нашей католической церкви предпочтительнее, чтобы ты передал мое послание уже на земле Московии, где-нибудь, по крайней мере, за Тчерниго... да, за городом Чернигово, к сожалению отвоеванном москвитами у Речи Посполитой.

– Прошу пояснить, падре. Впрочем, я выполню приказ и без пояснений.

– Разумно. Объяснение коренится в содержании послания. Кстати, внутри пакета свиток с моей личной печатью, как следует. Я же говорил о внутреннем содержании. От имени матери нашей католической церкви я напоминаю так называемому царевичу, что он сам, по доброй воле и внутреннему убеждению, перешел в ее лоно и обязался обратить в единственную канонически правильную христианскую веру своих подданных. Для чего я ему об этом напоминаю? Ибо убежден, что он, оказавшись в Московии и добившись в этой варварской стране первых военных успехов (дай-то ему Бог!), попытается скрыть от подданных свое обращение в католическую веру и не будет спешить с исполнением данных понтифику обещаний. Вот тогда-то и полезно ему будет получить мое предостережение на сей случай, этакий отрезв-

ляющий кувшин холодной воды на его хитроватую славянскую голову.

– Я понял, падре. Позволено ли мне будет задать вопрос?

– Да. У тебя есть еще несколько минут.

– Было сказано: «так называемому царевичу...» Считают ли мать наша католическая церковь этого человека настоящим царевичем Деметриусом?

– Вероятность такого чуда ничтожно мала. Поэтому мы считаем его самозванцем. Однако ты должен обращаться к нему как будто видишь перед собою подлинного, капризом судьбы спасенного московского царевича. Да будь он хоть и трижды самозванец! Мы не должны упустить самой малой возможности для обращения диких москвитов, а не удастся – то для военного завоевания их католической Речью Посполитой.

– А кто он тогда на самом деле, падре? Веры какой, это понятно... А вот какому он принадлежит народу, сей искатель приключений?

Нунций помолчал. В свое время подобные вопросы очень интересовали его самого, а для этого фанатика они, быть может, жизненно важны. Почему же не поделиться сведениями и предположениями? Это будет по-христиански.

– Я наводил справки, также самолично к молодчику прислушивался и присматривался. Хорошо говорит по-польски, знает латынь, хоть и скрывает это перед соотечественниками. Однако лучше всего говорит по-русински, при этом,

как мне говорили, именно на диалекте москвитов. Черно-волос, скулы славянские или татарские, глаза черные, раскосые. Москвит, конечно. Хотя для москвиты слишком быстро соображает, пожалуй.

– А не еврей? – Тусклые глазки иезуита-заморыша загорелись.

– Откуда такому взяться? В Московии нет евреев. Когда мнимый отец нашего «царевича», великий князь Иоаннус Базилиис, захватывал города в Ливонии, он первым делом топил тамошних евреев или спускал их под лед. Смотря по сезону.

Иезуит выпучил глаза. Перевел дух и спросил, снова забыв прибавить «падре»:

– Что я должен делать, вручив послание?

– Ты должен сделать все для того, чтобы остаться в его свите и участвовать в походе на Москву. Впрочем, если с этой частью задания ты не справишься, никто не станет тебя осуждать – и я первый.

– Благодарю вас, падре.

– Это еще не все. Я обратился лично к генералу твоего ордена и попросил срочно найти кандидата для этого поручения. Сделанный им выбор был обусловлен, в первую очередь, тем, что ты в совершенстве владеешь польским языком и понимаешь речь москвитов. Однако падре Аквавива поделился со мною имеющимися в его распоряжении сведениями о твоих недостатках. Я не считаю их серьезными толь-

ко потому, быть может, что наш устав не столь суров. Скажем, твое честолюбие мне только на руку. А твое пристрастие к дурацкой идее о нынешнем существовании преадамитов, которую пытался распространять твой бывший патрон падре Пистоний, меня даже позабавило. Я только хотел бы тебя остеречь, сын мой.

– Слушаю с огромной благодарностью, падре.

– Ты должен четко осознать, что нас и москвитов разделяют десятки веков, в Европе Богом отведенных на христианизацию населения, а в Московии – на дрессировку медведей. Москвиту посему более понятен и близок был бы краснокожий туземец из Вест-Индии, нежели ты. Если обычного европейца можно назвать христианином с глубоко припрятанными остатками язычества, то москвит – это всегда язычник, чуть облагороженный этой их схизмой, которую они невежественно называют православием. Европейец боится всяких там троллей, плодов своего легковерного воображения (именно так обстоят дела, запомни!), а москвит им поклоняется, старается ужиться с ними. Если когда-нибудь выйдет из печати русская демонология, в ней будут содержаться удивительные открытия! Знаешь ли ты, что у москвитов есть предрассудок, согласно которому мертвец может вставать из гроба и посещать семью, стараясь ей чем-нибудь помочь? И они таких живых мертвецов почти не боятся...

– Да, сие удивительно, падре.

– Поэтому будь острожен, сын мой, с этими их предрас-

судками, старайся не оскорбить москвитов в их дикарских верованиях. Да, кажется, все. До Киева тебя довезет в своем обозе пан Яков Потоцкий, воевода брацлавский (я уже договорился), а там...

– А там доберусь как-нибудь, падре, – осмелился подсказать церковному вельможе монашек-замухрышка. – Нам, иезуитам, не привыкать путешествовать питаясь подаянием.

– Пан Потоцкий выедет на рассвете из своего поместья в Потоках, под Краковом. Ты знаешь, где это?

Наконец, падре Рангони вручил монашку пакет с посланием и отпустил его. Попрощавшись, иезуит пятился до самой двери, так что нунций успел даже предположить, что у него на заднице совершенно уж неприличная дыра, которую бедняга не успел зашить перед аудиенцией. Ан нет, вот и спина, обтянутая темной долгополой хламидой, мелькнула за панелью замечательной, резного дуба, двери. Нет дыры на задку у монашка! Демонстрировал, стало быть, крайнее почтение. Дурак, что ли? Нет, не дурак. На языке Горация изъясняется вполне прилично – но чем ему поможет латынь в дикой Московии?

Если иезуиты сами рвутся расчищать грязные дыры мироустройства, Бог им в помощь. Нунций вздохнул, устроился в своем мягком кресле поудобнее и постарался выбросить коадьютора ордена Иисуса, ничтожного Игнация, из головы.

9 октября 1604 года

Некрасивому юноше, называющему себя царевичем Димитрием, внезапно захотелось наружу, на свежий воздух. Ибо едва ли не кожей и уж точно тонкой материей в ушах ощутил он, как давят на него десятки саженой земли, нависающие над узкой рукотворной пещерой. Пусть, как объяснил ему отец Лазарь, киево-печерский келарь, Бог создал Печерскую гору из почвы светлой, легкой и твердой, в которой копать не трудно, тем более если помолиться сперва святым отцам Антонию и Феодосию, а подпорок, как, например, в силезских подземных рудниках, тут вовсе не требуется. Пусть нечего здесь бояться – душа его стремилась на волю, под скудное октябрьское солнышко.

А тут еще вой. Ухающий, содрогающийся какой-то и с каждым мгновением все большую наводящий тоску. Не то волчий, не то собачий, а если собачий, то не ученая ли собака воеет? Рассказывали ведь ему про собаку, умевшую протявкать несколько слов по-немецки. И в этом вое человеческое слышится – когда «Не виновен!», когда «Помоги!».

Невысокий юноша остановился. Шедший вслед за ним доверенный его слуга Мишка Молчанов ткнулся в спину своего государя и едва не сбил у него с головы (подбородком, наверное) роскошный бархатный берет, последний модный писк столичного Кракова. Проводник, келарь отец Лазарь, тоже остановился, однако повернулся к знатному гостю не сразу. А тогда открылась и свеча, ранее заслоненная его ши-

рокой черной спиной. Сразу посветлело.

– Что это здесь у тебя воет, святой отец? – спросил некрасивый юноша по-русски.

– Да бесноватые наши. Посажены в самых дальних пещерах на цепях, – неохотно ответил келарь. – Почуяли они, что большой господин идет.

– А откуда ведомо, что бесноватые? Не просто ли – того? – И державный юноша дернул было правой рукой, держащей роскошный, для знатных гостей предназначенный подсвечник, однако опомнился и довольно неловко покрутил у виска левой.

– Уж коли таковой Святую Троицу уничивает, в Бога Духа Святого не верит – како же не бесноватый?

Молчанов хмыкнул. Некрасивый юноша вовремя припомнил, что вот уже полгода поступает как ему заблагорассудится, а не как начальствующие велят, и распорядился:

– К бесноватым не пойду. Покажи мне еще Илью Муравленина, святой отец, и возвращаемся.

– Возвращаемся? Да так тому и быть, государь, – легко согласился келарь. – А святого Илью-богатыря почему бы не показать? Его мощи тут же, в Дальних пещерах, почивают, прямо за поворотом.

Снова потянулась пещера. Стены темные, неровно округленные сверху, а вдоль них выкопаны ниши со святыми мертвецами, и те продолговатые дыры – уж вовсе непроглядно черны, пока не подойдешь со свечкой. Безучастный юно-

ша предпочитал не всматриваться в попеременно проявлявшихся там и снова укрывающихся в темноте поджарых мертвецов в темных коконах. С детства он побаивался мертвых, и чудесный дар Божий, благодаря которому похороненные в здешних пещерах чернецы только высыхали, а не гнили, вызывал у него, скорее, смущение и даже раздражал. Наверное, непонятностью своей.

– А вот и он, наш святой Илья!

Эта ниша была выкопана длинной – под стать положенному в ней трупу. Был Илья в обычном монашеском куколе, с лицом, покрытым лиловым шелком, однако на поверхность высунулась худая коричневая рука.

Некрасивый юноша склонил голову и положил на себя православный крест. Молчанов за его спиной снова хмыкнул. Спросил в своей уже известной принципалу нахально-заискивающей манере:

– А не будет ли святой отец столь снисходителен ко мне грешному, что позволит мне у него спросить?

– Спрашивай, сын мой, коли твой государь разрешит тебе.

– Да, разумеется, – бросил покладистый юноша, приближая свечу то к угадывающемуся за шелком грубому лицу, то к руке славного богатыря. – Спрашивай, Михалка.

– Довелось мне, святой отец, прочитать святую книгу – «Патерик Печерский». И там о мощах преподобного Илии ничего не написано.

– В той книге, сын мой, не обо всех наших святых напи-

сано есть, а только о древнейших, времен преподобных Антония и Феодосия. Впрочем, я в «Патерик» наш давно не заглядывал...

– А и в самом деле, – оживился любознательный юноша, – ведь рассказывал мне один старик, что тут, в Дальних пещерах, лежит богатырское тело славного Чоботка. Силача, дескать, так называли, потому что он одним своим сапогом кучу татар положил...

Келарь посмотрел на своих гостей неласково. Посопел. Потом начал неохотно:

– Вообще-то, государь, паломников у нас водят по пещерам братья Онсифор Репник, Петр Сучок и Матвей Девочка, меня же, келаря, архимандрит наш, господин отец Елисей Плетенецкий, попросил обслужить тебя, государь, из уважения к твоей государской особе. Петр Сучок лучше всех пояснил бы тебе, как мощи Чоботка превратились в мощи Ильи Муравлена. А я просто знаю, что через чудо. Какое именно, запомню, ты уж прости. У меня, государь, голова не с Успенскую церковь, чтобы еще и эти истории в ней держать. На мне, грешном келаре, не только все здешнее монастырское хозяйство висит, а еще два наших города, Радомысль и Васильков, сорок восемь сел да четырнадцать хуторов по всей Речи Посполитой. Да с рыбными ловлями, да с перевозами, да с мельницами и еще с пасеками. Вот бобровые гоны еще, едва не забыл. Мне не до святых этих богатырей, прости Господи...

– Полно тебе, отец, сердиться, – развязно заговорил Молчанов. – Не знаешь так не знаешь, в том от нас тебе обиды нет. Так нам у отца Петра Сучка спросить, говоришь?

Снова помолчал отец Лазарь, посопел. Потом посоветовал:

– Тебе, сынок, никто ничего здесь пояснять не обязан. А ты, государь, лучше спроси у отца архимандрита Елисея, понеже Сучок как собеседник тебе не по версте. А коли не желаешь более пещеры обсматривать, тогда давайте вернемся. Время дорого. Гм... Тут у нас ходы узкие, посему для всех наших гостей возвращение одинаково совершается. Разворачивайтесь все на месте, как я к вам развернулся. Поворачивайтесь ко мне задом. Тогда станут, прямо по слову Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии, последние первыми – и вперед!

– Так, значит, я первым? – промолвил по-польски начальник охраны капитан Сошальский. И хохотнул. – Так вот когда я получил повышение!

– И подле московского царевича без паписта не обошлось, – пробурчал келарь. – Что за времена настали?

– Пан Юлиан не папист, – возразил державный юноша. – За этого ляха, святой отец, я семерых русских недотеп отдам. Топай, пане Юлиан!

Развернулись, снова пошли гуськом. Тут же почувствовал некрасивый юноша, что навстречу пахнуло свежей прохладой. Нет, почудилось только... Заговорил весело:

– Вот что уж точно по твоей парафии, святой отец. Скажи, каким чудом в наши времена монастырь остался православным и как православный монастырь сумел удержать все те богатства да угоды, коими ты бахвалился?

– Без чуда, государь, конечно, не обошлось, однако и люди нам крепко помогли. Когда накрыла православные земли Речи Посполитой зима еретическая, сиречь настала богопротивная уния, и православные митрополит и епископы изменили православной вере, подчинились папежу римскому, наш монастырь на то не соблазнился, – тучный келарь отдышался и продолжил: – А наш тогдашний архимандрит господин отец Никифор Тур, вечная ему память, времени не теряя, нанял казаков, прикупил оружия, в числе том и огненного, зелья да свинца, и начали киевские казаки монастырских слуг и крестьян учить военному делу. Лет шесть тому назад пришел под монастырь самозванный униатский архимандрит с королевским универсалом да с отрядом шляхты – так наш отец архимандрит препоясался мечом, сел на коня и шуганул безбожного самозванца с его войском не хуже Ильи Муравленина.

Загадочный юноша хмыкнул и уставился в поблескивающую серебряными нитями шелковую спину Молчанова: не хихикает ли тайком? Хитрый Михалка, похоже, затаил дыхание. Его государь ухмыльнулся, спросил небрежно:

– И что ж – его королевское величество стерпел обиду, нанесенную его жалованной грамоте?

– Тебе ли не знать, государь, что в Речи Посполитой порядка нет, а правит всем одна голая сила? На следующую весну его величество король, который одних иезуитов только и слушает... Да, король дал еще одну грамоту на наш монастырь другому уже шляхтичу-униату, тот пришел с большим войском и с пушками, однако отец Никифор и сего самозванца прогнал. Правда, и православные магнаты, князья Константин Константинович Острожский да Адам Александрович Корибут-Вишневецкий, помогли, защитили нашу обитель перед милостивым королем Сигизмундом.

Перед глазами любопытного юноши за черными силуэтами его ближних людей замелькало уже белое световое пятно. Близок был выход из пещеры, и воздух теперь действительно посвежел.

– Пстой, государь, – заявил вдруг келарь, задыхаясь от нехватки воздуха. – Пусть твои люди выходят, а мы тут еще постоим, с твоего позволения. Мне нужно тебе тайное слово молвить.

Державный юноша распорядился, а сам остался стоять, ожидая, пока келарь отдышится, и тоскливо поглядывая на светлое отверстие. Он не сердился на старика за то, что уже сморозил невзначай, равно как и за те неприятные вещи, которые еще скажет намеренно по приказу, очевидно, своего архимандрита, просто ему сильно хотелось наружу.

Органчик, разными голосами сипевший в груди отца Лазаря, поутих, наконец. Келарь откашлялся.

– Государь, не прогневайся. Мне поручено отцом архимандритом просить тебя на нас, грешных, не обижаться. Нам не впервой принимать знатных персон, и есть для того у нашей обители свой обычай. Однако же... Господин отец архимандрит Елисей просит тебя извинить за то, что не предлагает тебе переночевать у нас и что не накормит ужином, равно как и отстоять вечерню не пригласит. Нам, живым мертвецам, в твою распрю с царем Борисом Федоровичем не вступаться, а через неделю отправляем мы обычную станицу наших чернецов в царствующий град Москву за милостыней. Ты же сам понимаешь, государь...

– Угу, – согласился некрасивый юноша, пожалуй, даже слишком поспешно. – Уж тем ты мне угодил, что выпроваживаешь кратко, без ляшской пустой тягомотины. Теперь пошли, отец? А что, ваш теперешний архимандрит такой же богатырь, как и покойный Никифор Тур?

– Нет, он, скорее, книжник, – вздохнул отец Лазарь облегченно. – Из волынских шляхтичей, а вот к своим книгам прикипел душой. Думает в обители типографию завести – а где я ему на эту затею денег наскребу? И вот еще что, чуть не забыл... Ты же, государь, в замке у пана воеводы остановился, мне ведь правильно сказали? Спустись сегодня вечером с горы на Подол, в корчму пана Ивана Фюрста: там я заказал для тебя роскошный ужин, лучшее, что только можно за золотые получить в Киеве. И заплачено уже.

– Так, значит, монастырских стоялых медов я со своими

людьми сегодня не отведаю? – усмехнулся некрасивый юноша. – Ну спасибо...

– Да нет же, государь! Меды я самолично на телеге привезу. Да и сам первый проверю, не прокисли ли.

Наверху некрасивый юноша вначале чуть не ослеп от яркого света, но, когда глаза привыкли, стало ясно, что день догорает. Солнце садилось за Печерской горой, и окрестные виноградники и сады пестрели черными тенями. Он оглянулся: снаружи вход в Дальние пещеры мало чем отличался от входа в какой-нибудь немецкий рудник.

Чуть выше по склону, у неказистой деревянной церковки темнела одеждами и клобуками кучка монахов, среди них выделялся шелковой лиловой рясой худощавый старик с рогатым посохом. Державный юноша поклонился издалека, но берета не снял и, придерживая саблю левой рукою, поспешил к архимандриту. На подходе услышал еще, как отец Елисей втолковывал молодому послушнику:

– ...и как появится Евстратий, как только перед отцом Лазарем о милостыне принятой отчитается, живо его ко мне.

Послушник загнул на левой руке третий, средний, палец и испуганно отскочил, увидев, что приближается высокородный (а там Бог его знает) гость.

А таинственный юноша перекрестился небрежно, но по православному и подошел к руке отца архимандрита. Тот благословил его, пробормотав:

– Ишь ты... А мне говорили, что ты, государь, перешел в

католическую веру...

– Врали тебе, господин святой отец, – честно округлил некрасивый юноша серые свои глаза. – Про меня среди народов многие ходят клеветы.

– И еще переносили, будто ты на самом деле есть расстрига Гришка Отрепьев, московский беглец. Ты уж прости, государь, из песни слова не выкинешь... А я Гришку видел: он приходил в обитель с товарищами, и я его, наглеца, отправил восвояси: «Четверо вас пришло, четверо и подите».

– Не в первый раз слышу про Гришку, господин святой отец. Но мне неведом таковой, самому любопытно было бы на него посмотреть.

– Думал я, чадо, что бы мне, ничтожному черноризцу, сказать тебе для души твоей полезного? Разве вот чего. Многое довелось тебе вытерпеть от людей в детстве твоём и в отрочестве, а ты не озлобляйся, не черствей сердцем. Пусть твои страдания напоминают тебе о муках Господа нашего Иисуса Христа! Они к нему тебя приближают, запомни сие. И прими от обители нашей подарок, – архимандрит сделал небрежное движение рукой, и другой послушник с поклоном поднес ему коробочку, выплетенную из луба. – Это частица мощей преподобного печерского исповедника Моисея Угрина, из древних насельников обители. Подумал я, что если мощи сего святого наших чернецов удерживают от плотских поползновений, то и тебе, человеку летами еще молодому, подобная помощь полезной будет.

Изумившись в душе, а внешне и глазом не моргнув, благочестивый юноша с поклоном принял коробочку, почтительно поцеловал ее (бархатистость свежего луба напомнила его губам нежную кожу молодухи) и передал Михалке Молчанову. Напоследок обменялись они с архимандритом несколькими фразами насчет общих знакомых, православных и католических магнатов, и вежливый юноша с облегчением откланялся.

На ступеньке деревянной галереи, ведущей наверх, к прекрасной Успенской церкви, сидел высокий шляхтич средних лет в латах, шлем держа в руках. Увидев державного юношу с его приближенными, встал, коротко звякнув железками, и почтительно поклонился.

– Кем будешь, пане? – спросил его капитан Сошальский по-польски.

– Я Адам Сорочинский из Сорочин, герба Хабданк. Пришел на двух конях с конным оруженосцем его величеству, царевичу московскому Деметриусу, в его личной охране послужить.

– Я, пане Адам, рад всем шляхтичам, пожелавшим присоединиться к моему войску, – ответил на польском державный юноша и полуобернулся к капитану. – Полагаю, пан Юлиан побеседует с тобою, пане, и решит, достоин ли ты мою охрану поступить.

– Повинуюсь твоему царскому величеству, – поклонился капитан.

– А ты, пане Адам, не имеешь ли желания взглянуть на здешние нетленные мощи? – любезно улыбнулся некрасивый юноша. – Найти нас ты сможешь на Подоле, в корчме этого, как его...

– Ивана Фюрста, государь, – подсказал из-за его спины Молчанов.

– Да ну их, темных схизматиков, – буркнул высокий шляхтич. – К тому же, ваше величество, мне уже приходилось там бродить, в их подземном лабиринте. Долго не мог потом разогнуться, а спина, как вспомню, снова начинает болеть.

Некрасивый юноша приятно улыбнулся и подумал, что иногда и такие коротышки, как он, получают преимущества над высокими болванами, однако до чего же редко это слу... Он не успел закончить эту мысль: темная тень разом накрыла его и исчезла.

– Что это было, пане Юлиан?

– И я не успел рассмотреть, твое царское величество...

– Зато я разглядел, – похвастался Молчанов на русском. – Это ведьма пролетела на помеле, государь. На Лысую гору, тут по соседству.

Лесной Серьгин хутор в Московском государстве,

в дне пути от польской границы

16 ноября 1604 года

Сопун успел и Савраску запрячь, и собраться уже в доро-

гу, однако выехать не мог: жена перекрыла выход из светлицы, когда заглянул в избу попрощаться.

– И куда это ты, муженек, на ночь глядя, намылился, а? – подбоченилась Марфа. – Я тебя спрашиваю, дорогой!

Сопун прикинул расстояние и соразмерил силу плюхи на случай, если придется Марфе в глаз дать. Для того примерился, в основном, чтобы свое ретивое потешить: а потребуется, мол, и в глаз дам. На самом же деле такое продолжение разговора было в данном случае весьма нецелесообразным, да и самому Сопуну не очень-то и хотелось поучить жену дедовским способом. Успокоить кулаком не успокоишь, зато крику-то, крику будет... Сейчас ему грозит обычная ссора, а такую можно уже завтра погасить в супружеской постели, когда дети заснут. И если силы у него останутся после свиданки с молодой вдовой-корчмаркой, разбитной Анфиской. А распустил бы язык – не говоря уж о руках – впереди замаячила бы домашняя война не меньше чем на две недели.

– Что ж ты только лыбишься, муженек, как блудливый кот? Сказать тебе нечего?

Сопун изумился: разве коты умеют улыбаться? Вот собаки – другое дело! И можно только представить, чего мог бы сказать своим хозяевам кот и о чем бы могло бы это избынное животное поведать, если бы боги дали ему человеческий язык... Наконец, Сопун сумел собраться с мыслями. Ведь, и в самом-то деле, по правилам игры пора ему начать отбредиваться. Уж что-что, а поговорить он мастак. Главное – на-

чать, а там само с языка польется...

– Послушай, голубушка, ведь совсем напрасно ты на меня нападаешь! Да, я целую неделю в лесу пробродил, зато при-
волок двух вепрей. Мы с братом Тренкой мясо хорошенько
закоптили, а три окорока я обещался поставить в корчму на
Бакаевом шляху до Михаила-архистратига. А сегодня с утра
у добрых людей братчина Михайловщина.

– В корчму ему под вечер понадобилось, это надо же?
Неужто она, Анфиска-корчмарка, медом обмазана, что вы,
мужики, на нее, как мухи, слетаетесь? Не пушу никуда!

– Коли обещал, так слово держать должен, – степенно от-
ветил Сопун, вообразивший себя на мгновение важным тол-
стопузым купцом: обязался тот поставить товар к сроку, и
вот теперь кровь из носа должен обещание выполнить, ина-
че честь свою купеческую потеряет. Конечно же, он мог спо-
койно отвезти окорока завтра днем, однако днем Анфиска
вертится как белка в колесе, и светит ему разве что быст-
рое перепихивание, эта обидная своей короткостью радость.
А вот ночью, когда гости угомонятся, и в Анфискиной соб-
ственной каморке на верхнем жилье... Столь мала комнат-
ка и столь узка скамья, что любовники поневоле всю ночь
не размыкают объятий. Эхма! И о сладости, прелестям уш-
лой корчмарки присущей, Сопун много чего мог бы порас-
сказать – однако не враг же он самому себе! И разве виновата
Марфа, что, нарожав ему детей, в ежедневной бабьей сума-
тошной работе растеряла и то неяркое девичье очарование,

которым, ничего не скажешь, сумела воспользоваться, когда чуть ли не двадцать лет тому назад покойный отец высватал ее в дальнем селе Игоревке для старшего сына. А в последние годы еще и расплылась, как бочка. И вообще, мужья стараются позже жен, это уж самими богами устроено... Что она несет?

– ...какой еще Михаил? Михаил-архистратиг только завтра будет. Совсем ты, Сопун, обезумел из-за своей Анфиски!

– Это ты ошиблась, Марфа: сегодня путивляне собираются на Михайловщину-братчину. Я же в начале месяца был в Путивле, а потом ежедневно зарубки делал.

– Где это ты зарубки-то делал? – подняла она реденькие бровки. – Ври, муженек, да не завирайся!

Сопун прикусил язык. Ведь он метил время зарубками не дома, а в заветной своей охотничьей избушке, о которой не ведали домашние, за исключением сына приемного его Вершка. Сейчас он едва не проболтался, а поскольку в том сам был виноват, то по-настоящему рассердился – не на себя, понятно, а на приметливую и горластую жену.

– Да прекрати ты ко мне цепляться! – закричал. – Я уже Савраску запряг, уже окорока сложил в телегу под дерюжкой. Надо мне поехать – и поеду! Хрен ты меня остановишь, баба!

Тут дверь скрипнула, и показалась в ней голова приемного сынка. Увидев ее, захожий человек мог бы и испугаться. Рожица у Вершка безбровая, глаза без ресниц, волосы стоят торчком, как иглы у ежа, однако не скрывают больших ушей,

кверху заостренных. Сопун любил Вершка по-простому, таким, каков есть. Спору нет, нарожала Марфутка ему детей, а все девчонок. Вот только лет десять тому назад исхитрилась она и разродилась мальчишкой, а Лесной хозяин почти тотчас же изловчился и подменил своим младенцем. Быстро вырос Вершок и стал первым помощником Сопуну в его лесных делах: колдовские травы он издалика нюхом чует и зверей в ловушки да под самострел замечательно привлекает.

– Батя, возьми меня с собой, – заныл мальчонка, дверь за собою не закрывши, за что и получил тут же подзатыльник от раздраженной Марфы.

– Следующим разом, сынок, тогда мы утром выедем, – ласково, будто и не кричал только что, пообещал Сопун. – Я-то в телеге спокойно переночую, а ты как бы не замерз.

Малый скривил свой большой рот и был таков, а Марфа напустилась на Сопуна:

– Ох, напрасно ты балуешь лешачонка, муженек! Он, приبلудный, того и гляди в лес убежит.

Баба опять была кругом права, и потому Сопун заорал в ответ:

– Это я-то балую?! У меня парнишка при деле, и, пока у нас живет, мне он родной сын! Вот ты дочек разбаловала, так разбаловала! Ты погляди, что с Проворой делается, – она же который месяц сама не своя! И с какой бы это стати она у тебя одна в овине ночевала, аж пока ночные морозы не ударили?

Теперь уж Марфа промолчала и опустила глаза. Крыть было нечем. Пятнадцатилетняя Провора, мало того что вот-вот угодит в старые девы, с нею вообще творилось неладное. Сопун хотел было выдать ее замуж, как и старших сестер, по своему разумению, однако она решительно воспротивилась. Оказалось, что на Купала познакомилась с парнем, сразу же прикипела к нему душой и заявила родителям, что ни за кого другого замуж не пойдет. Сопун не спал две ночи, все пытался понять, почему это его и Марфу никто и не подумал спросить, желают ли они пожениться, а тут такое самоволие? И не юнец ведь даже заартачился, а девка, коей вообще не положено жить своим умом. Наконец, хоть и стало ему обидно, что дарует дочке право, которого сам был лишен, решил Сопун пойти своей любимице навстречу. Принялся потихоньку, через соседей, в семье парня разведывать, не желают ли там посвататься. Когда приехал тогда домой, лица на нем не было. Ведь парень тот, хоть и провел в паре с Проворой ночь на Купала, отнюдь не рвался на ней жениться: девка, видите ли, ему не приглянулась! И родители не хотели его неволить – так, по крайней мере, ответил отец парня Сопуну.

Никак не мог Сопун взять в толк, чем могла не понравиться юнцу его Провора: сам он считал ее самой распрекрасною девицей из когда-либо им виденных и даже глубокомысленно задумывался над тем, как могла повернуться бы его судьба, если бы покойный отец женил его на девице с красотой и нравом Проворы. Однако, как выяснилось, кротка и

послушна красавица-дочь была только в обыденной жизни, предпочитала она, как и сам Сопун, уступать в мелочах, зато настаивать на существенном для себя. Но речь ведь шла не о споре, заводить или нет пасеку! Сейчас она, несомненно, страдала и тем разрывала сердце отцу. Тем более что мерещилось ему, будто уже и утешитель завелся. Даром, что ли, зачастили над хутором полеты огненных змеев, о которых раньше в этой глуши почти и не было слышно?

– Ты, Сопун, попрекаешь меня Проворой, но того не хочешь признавать, гордец хренов, что это из-за тебя не складывается у дочери судьба!

– Совсем спятила баба! – От изумления Сопун принялся руками от жены отмахиваться, будто от осы, что невзначай в избу залетела.

– Будто и сам не знаешь, что отец ее суженого не захотел с тобою породниться, потому что ты колдун и в церкви отродясь не бывал? Да за что мне от небес такие муки? У других мужья сидят себе тихо дома и землю пашут, а у меня ты то на знахаря учишься у колдуна-отшельника, то охотником заделываешься – только бы снова в лесах пропадать!

– Если бы не мой охотничий промысел, – взвился Сопун, – могли бы мы все и не выжить в большую голодовку. Что было толку землю пахать, когда три года подряд по всей Руси неурожаи?

– Да плевать мне! Уж лучше бы меня за Тренку выдали! Вот это мужик так мужик! Подсекает и выжигает лес, пашет

себе, сеет и всякий день дома, под бочком у жены, со своими детишками. Сноха твоя, Федора, живет себе надежно: рядом с нею муж, с которым можно спокойно встретить старость.

Присмотрелся Сопун к жене, усмехнулся криво:

– Так ты, говоришь, на брата моего глаз положила. Не ожидал я, правду сказать...

– Да это я так, к слову... – покраснела толстуха.

– И при чем тут «встретить старость»? Про какую старость ты говоришь?

– А ты думаешь, что вечно будешь по бабам бегать? А Тренка, он выпивает, конечно. Так ведь и покойный Серьга тоже любил выпить – а какой был богатырь! Ну и пусть Федорин муж выпивает...

– ...пускай Федору поколачивает... – подсказал Сопун.

– Уж если бьет, любит, стало быть, – улыбнулась Марфа сквозь слезы.

Тут стало ясно Сопуну, что жена плавно подводит ссору к примирению. Пойти ей навстречу – и остаться дома, дав понять Марфе, что мужем возможно помыкать? Или быстро подняться со скамьи, проскочить к двери и уехать, на брань супруги не отвечая? Мутное, из белужьего пузыря, окошко на глазах темнело, и ему не хотелось выехать на Бакаев шлях уже впотьмах.

Он как раз решал, как поступить, когда дверь снова закрипела, и на пороге показалась Провора. И без того тонкие черты прелестного лица ее заострились, под глазами залегла

синева. С чего бы это, спрашивается?

– Угомонились бы вы, родители, а то я детвору никак не могу уложить. Мало того что слышат в горнице почти каждое слово, так еще и рассуждают о семейной жизни – вам бы послушать!

– Скажи мне лучше, дочка... – начал было Сопун, да замолчал. На дворе залаяли собаки – и столь яростно, будто с цепи хотят сорваться. Неужели медведь прибрел?

Сопун метнулся в сени, где на стене всегда висел топор. Топора на крюке не оказалось – опять брат Тренка брал дрова колоть и на место не повесил! Срывая с пояса охотничий свой нож, выбежал на крыльцо. Как хорошо, что не успел он отпереть ворота!

И тут засов на воротах разлетелся в щепки, створки с жалким скрипом распахнулись – и во двор влетели, поднимая на скаку копыта, два всадника, один весь в железе, второй в польском платье. Будто в страшном сне, хутор мигом заполнился гогочущими, до зубов вооруженными иноземцами.

Глава 1

Торжество победителей

Седоусый пан в начищенных и несколько поблекших уже в дороге латах скептически осмотрел так-сяк выстроенный на проселке отряд. Не войско, а сборная селянка: трое своих слуг, да двое немцев-мушкетеров, да пятеро вороватых казаков, выдающих себя за запорожцев, да двое нищих православных мещан из Самбора, взявших в долг коней, оружие и снаряжение под будущую московскую добычу. Теперь этим последним, горожанам, к воинскому делу почти непригодным, наконец-то нашлась работа: надо же кому-то обиходить телегу со взятым у лесных схизматиков добром. И еще на телеге устроился монашек-иезуит, вот уж личность совершенно бесполезная...

Пан Ганнибал из Толочин Толочинский, герба Топор, был в свое время ротмистром у короля Стефана Батория, командовал ротой храбрых польских рыцарей «панцирной хоругви». Теперь у него под началом оказалась эта кучка черни, убийцы и насильники. Но делать нечего: ехать через здешние дремучие леса с одними только слугами было бы намного опаснее... Но тут прервалась нить размышлений пана Ганнибала, потому что его слуга, кашевар Лизун, скатился со стоявшей последней в колонне собственной повозки ротмистра

и бросился затаптывать тлеющие угли костра – а ведь именно он и развел на рассвете костер, намереваясь сварить завтрак.

– Ну и дурень, – показал на Лизуна грязным узловатым пальцем бородатый Мамат, старший над казаками. – Хутор полыхает, а он костер тушит!

Отряд грохнул хохотом.

– Да Лизун вчера так нализался, что и сегодня еще пьян!

Пан Ганнибал поморщился. Усердие Лизуна, и вправду смешное, объясняется, несомненно, его нечистой совестью. Чем может угрожать лесу костер, если и пылающие избы не смогут его зажечь? Ведь мертвые строители хутора выкорчевали вокруг него широкую полосу, чтобы обезопасить постройки от лесного пожара, а вот теперь их предусмотрительность, напротив, спасает лес.

Пан Ганнибал откашлялся и, перекрикивая гул и треск пожара, проревел на польском, чтобы все слушали. Когда налитые кровью глаза спутников-проходимцев сосредоточились на нем, напомнил, что позавчера отряд перешел московскую границу. Тут идет война между своими (он сказал: «вуйна домова»), и для нас все московиты, что не признают власти великого князя Димитрия, враги есть, а с врагами так и надлежит поступать, как вы вчера обошлись с местной деревенщиной. Задача наша – соединиться с войском великого князя Димитрия, а оно, по верной ведомости, идет сейчас к Путивлю. Будем догонять! Жаль, что не сумели уговорить проводника, да он-де, ротмистр, и сам не промах – переве-

дывался с москалями в этих лесах! Жаль и мне, что не удалось кулеша сварить. Ну так надо было иметь голову на плечах! Вольно вам было бросать тела схизматиков в колодец, не набрав прежде воды для завтрака и коней не напоив... Ничего, вот выйдем к Сейму, там и коней напоим, и сами позавтракаем по-человечески. Виват великий князь Димитрий, московский и всяя Руси!

– О йя! Йа! Цар Димитри! – Длинные стволы мушкетов закачались над плечами немцев, потому что закивали они головами. И вдруг подняли глаза к небу. – О! Доннерветер!

– Змий! Огненный! Летит, мать его! Змей! – закричали тут со всех сторон. Облако пивного перегара над отрядом сгустилось.

У пана Ганнибала после стычки с татарами под Рогатыным плохо поворачивается шея, и он успел разглядеть только красный хвост пролетевшего к северу от хутора огненного летающего змея. Хвост был замысловат и красив, как на большой иконе святого Ержи, виденной им у схизматиков в Почаевском монастыре. Крякнув, пан Ганнибал тронул левый повод, и верный Джигит поднес его к монашку, с разинутым ртом уставившемуся на стену леса, за верхушками которого скрылось удивительное небесное явление. «Вот и нашлось бездельнику занятие», – подумал пан Ганнибал и рукой в железной перчатке спихнул замухрышку с телеги.

– Тераз ойчец Игнаци поясниць¹.

¹ Сейчас отец Игнаций объяснит (*польск.*).

Патер Игнаций первым делом подобрал с притоптанной травы свою четырехугольную черную шапочку, потом, не вставая с колен, перекрестился, поклонился и пробормотал молитву. Легко поднялся на ноги, отряхнул длинную черную рясу, внизу всю в колючках репейника, бодяка и прочей колючей растительной нечисти. Встал по правую руку от пана Ганнибала и заговорил вкрадчиво по-польски:

– Все природные вещи на Земле и вокруг нее, в небе, созданы Богом. Нам с вами Бог позволил увидеть уранолит, или звезду падающую. Только глупые невежды могут думать, что это знамение не на добро есть. Ибо разве может Божье творение быть не на добро человеку? Если же найдется невежда, кой захочет упорствовать в этом своем невежестве, то пусть вспомнит, в какую сторону полетел уранолит? Он на восток полетел! Если бы и было это скверное знамение, так сие для тех московитов, что великого князя Деметриуса не признают, скверное знамение!

Казачи заворчали. Слуги пана Ганнибала недоуменно оглянулись на своего хозяина. Он невозмутимо кивнул им головой. Самборские мещане тарасились на монашка так же испуганно, как до того на закованного в блестящее железо пана Ганнибала.

Монашек тем временем продолжал:

– Сиятельный пан ротмистр правильно изволил сказать, что со схизматиками сего поселения вы поступили по праву войны. Но не по заповедям Господа нашего Иисуса Христа,

нет! Сильно нагреслили мы с вами, братья, этой ночью, весьма сильно! Однако исповедуйтесь мне на первом же привале, братья мои католики, и я сниму грехи с вашей души, даже и смертные. А схизматикам и без того гореть в геенне огненной – так имеет ли для них значение лишняя пара смертных грехов? Амен.

Пан Ганнибал склонил голову на мгновение, тоже перекрестился, развернул коня и вдруг гаркнул:

– Рушай!

И только сейчас вспомнилось ему, что удивило несколькими минутами ранее, когда скользнул его взгляд по сидевшему на борту телеги монашку, – был тот поверх рясы в мешковатом русском кожухе. Пропустил горе-отряд мимо себя, склонился к монашку, снова сидящему в той же позе. Спросил свистящим злым шепотом:

– Разве не знает святой отец, что нельзя трогать общую добычу, пока ее не разделили?

– А разве сиятельный пан ротмистр ничего не слышал о церковной десятине?

– Скажи это сам казакам! Кстати, давно тебя хотел я спросить, святой отец... Почему ты никогда и никому не смотришь в глаза?

– По уставу ордена наши, членов ордена Иисуса, глаза должны быть обращены долу и не должны подниматься выше нижней части лица собеседника.

Пан Ганнибал смачно сплюнул под колесо телеги, едва не

попав в сандалию замухрышки, и придержал Джигита, чтобы между ним и нахалом оказалась замыкающая колонну повозка с его периной и запасами, с оружием и снаряжением, которое пан не вез на себе, и с котлом, в котором его повару Лизуну приходится теперь варить кашу на всю ватагу. Не глядя, он кивнул кашевару, сидящему на передке, и пристроился в двух шагах за телегой. О голове колонны пан Ганнибал не беспокоился: отряд ведет его оруженосец, Тимош, знающий эти места не хуже своего пана.

Пану Ганнибалу надо было подумать. Впереди визжали несмазанные колеса крестьянской телеги, однако перед ним, по крайней мере, хоть не маячили сейчас фигуры мерзавцев, учинивших вчерашнюю пакость. Конечно же, удивление лесных насельников, ничего не знавших о чудесном спасении и возвращении царевича Димитрия, можно было истолковать и как нежелание его признать, следовательно, и как измену. В таком случае мужиков следовало судить и повесить, селение ограбить, а вот женщин и детей вовсе не трогать. Нехорошо вышло и с бродячим киево-печерским чернецом, не в добрый час пришедшим на хутор. Всего несколькими днями ранее такой же чернец-схизматик показывал пану Ганнибалу в пещерах нетленные тела прежних обитателей монастыря, а вот надо же – привязали беднягу к коновязи и поджаривали пятки, будто пленному крымскому татарину! И монашек-иезуит, сам пьяный, вместо того чтобы унимать мучителей (как-никак, одному Богу оба служат), еще и подзу-

живал казаков-палачей.

Пожалуй, пану Ганнибалу как шляхтичу и рыцарю следовало вступиться и защитить слабых и беззащитных. Наверное, он так и поступил бы лет тридцать тому назад, попади в такую переделку где-нибудь под Великими Луками. Вчера же он не вмешался, и даже не запретил своим слугам участвовать в позорных, что ни говори, деяниях. Сидел в натопленной избе, попивал скверное местное пиво, играя сам с собою в кости, а когда крики и визги в деревне утихли, улегся на свою перину и заснул.

Допустим, он обнажил бы против этой черни свой рыцарский палаш, а результат? Едва ли бы встали рядом с ним и собственные его слуги, пьяные, а еще более одурманенные уже пролитой кровью и безнаказанностью. Разве что Тимош, одних лет со своим паном, тот мог бы поддержать его. А вот стоило ли им обоим класть свои головы за каких-то схизматиков? Господи, да пусть Тимош сам о себе и о своей бессмертной душе заботится, а ему, Ганнибалу из Толочин Толочинскому, следует беречь свою жизнь, прежде всего и в первую очередь, для семьи, оказавшейся по его вине в положении хуже некуда. Тут пан Ганнибал громко застонал – как всегда теперь, незаметно для себя стонал, стоило ему припомнить свое последнее позорное приключение.

Когда так называемый московский царевич набирал в Самборе и его окрестностях войско для похода на Москву, обещая прилично заплатить наперед, а в Москве – уж и во-

все сказочные награды, пан Ганнибал не соблазнился, считая себя слишком старым для столь далекого и рискованного похода. К тому же ему не очень понравился и сам парень, называвший себя царевичем Димитрием.

Начать с того, что пан Ганнибал вообще недолюбливает москвитов, потому что считает их татарами, неизвестно почему оказавшимися христианами-схизматиками, а в силу другой исторической причуды говорящими по-славянски, хоть и уродливо. Еще важнее, что молодчик, объявивший себя чудесно спасшимся царевичем, слишком уж заискивал перед своими благодетелями-магнатами и, вообще, не проявлял царской породы. К тому же он вовсе не был похож на своего будто бы отца – царя Иоанна Васильевича Грозного, которого пану Ганнибалу довелось увидеть в его столичном замке, в Кремле, когда ездил в Москву в охране одного из польских посольств. Пусть и был покойный царь Иван, как говорили, жестокий тиран, убийца, палач и развратник, однако на троне своем золотом смотрелся весьма величественно. Кроме того, и некрасивым его нельзя было назвать. А нареченный сынок его, мало того что неприлично суетлив (тут его холопское прошлое проявляет себя), он еще и плюгав отменно. Как такое возможно? Ведь настоящий царевич Димитрий был рожден от последней, восьмой жены царя Ивана, к тому же взятой из незнатной семьи с красноречивой фамилией Нагие, а этот женолюбец, перепортивший, подобно Геркулесу, тысячи девиц, не стал бы жениться на дурнушке.

Свои соображения пан Ганнибал благоразумно держал при себе, однако, вращаясь среди панства, собравшегося в Самборе и образовавшего нечто вроде походного двора царевича Димитрия, понял, что так же думают о своем нанимателе очень многие шляхтичи, поляки и русины, из вставших под его знамена. Однако им наплевать, что их принципал и предводитель – скорее всего, просто ловкий жулик. А наплевать потому, что многое предрекает успех похода на Москву – и, прежде всего, слухи о чудесном спасении царевича Димитрия, буквально наводнившие православные земли Речи Посполитой несколько лет тому назад. Уж если православные подданные короля Сигизмунда, которым, в общем, не столь и важно, законный ли государь сидит на троне в стране москвитов, столь бурно обсуждали эту новость, можно только представить, какую волну она подняла в самой Московии, где очень многие недовольны своим нынешним царем! О благоприятной обстановке для появления в пределах Московского государства самого «царевича» твердили и его лазутчики, отвозившие «прелестные письма» в Москву и другие российские города, точнее, те из них, коим удалось благополучно перейти границу в обратном направлении.

Из природного любопытства, из него одного, ездил пан Ганнибал и на прием к «царевичу» во дворец Мнишек, был милостиво допущен к руке и к беседе, во время которой убедился, что претенденту на российский престол людьми управлять еще не доводилось, – впрочем, ловкий молодчик

этого и не скрывал. Узнав, что пан Ганнибал был ротмистром в походе короля Стефана Батория на Псков, он привстал с кресла, приятно улыбнулся гостю и заявил, что нуждается в таких опытных военачальниках. На что польщенный пан Ганнибал, сам не зная зачем, пообещал, что догонит войско уже в пути.

Бес, наверное, дернул его тогда за язык, ибо и двух месяцев не прошло, как пан Ганнибал вынужден был выполнить свое обещание. Многие из ушедших в поход шляхтичей оставили полученную с «царевича» плату дома, а внезапно разбогатевшие родственники не догадались приберечь эти с неба свалившиеся злотые или потратить на что-нибудь путное. В самборских шинках заграничные вина полились рекой, а ставки в азартных играх – карточных и в кости – замечательно выросли. Азартный, тем более во хмелю, пан Ганнибал сначала, памятуя свои прежние подвиги, держался подальше от игроков. Потом расслабился немного – и оглянуться не успел, как за одну ночь сперва выиграл за малым не тысячу злотых – и сразу же просадил их, а потом, пытаясь отыгратья, продул наследственное имение, свои Толочины. Под крики и вой своего бабья, с головой, раскалывающейся от тупой боли, пан Ганнибал вывел жену и дочерей из уже не принадлежащего ему дома с вырезанной на воротах датой «1582 A. D.», вынес носильные вещи (мебель и домашнюю утварь он тоже проиграл) и, взобравшись в седло, даже не окинул взором уже не принадлежащие ему поле и сад.

Отвел семью на подворье к жившему отдельным домом в Самборе оруженосцу Тимошу, своему однолетке, ничего не объясняя, попросил не выпускать, пока не возвратится, со двора. Выехал к Днестру, сошел с верного старого Джигита. Ноги не держали, и он сел на берегу, уставился на зеленовато-серые волны. В голове у него по-прежнему сменялись сочетания очков, звучали звонкие, короткие удары костей о деревянную доску, возгласы игроков... Потом, однако, боль в висках прошла, в голове нехорошо опустело и смолкло, оставив одно неистребимое ощущение большой беды. И тогда будто кто-то, стоявший за спиной, приказал ему как власть имеющий: «Иди к царевичу».

И, на колени опустившись, возблагодарил бывший ротмистр Господа за то, что некогда дал Ему страшную клятву никогда не играть на своего боевого коня, оружие и доспехи, а также и на слуг своих. Поразмыслив, пошел он на поклон к большому пану Юрию Мнишеку, сандомирскому воеводе, львовскому старосте и управляющему королевской экономией в Самборе. Слуги удивились, что он не знает об отъезде их пана в Киев с «московским царевичем», и после долгих уговоров согласились передать его просьбу об аудиенции дочери магната. Панна Марина изволила посмеяться над бедой старого ротмистра, подразнила немного, а потом приняла важный вид, смилостивилась и снабдила на дорогу из денег, оставленных «царевичем» для тех польских шляхтичей, которые опоздают к началу похода. Львиную долю

этих злых пан Ганнибал оставил супруге, взяв для себя и слуг только на самое необходимое. На рассвете следующего дня выехал он из Самбора, испытывая огромное облегчение: по улице нельзя было пройти не встретив знакомца, обязательно начинавшего, посмеиваясь в усы, расспрашивать, как это он, седой старик, ухитрился проиграть имение в кости, — и не рубиться же с каждым на саблях, защищая свою шляхетскую честь!

Воспоминания переключили внимание пана Ганнибала с неприятных событий ночи, да и солнце уже поднялось над лесом, в воздухе потеплело... Пан Ганнибал знал, что его слуги сперва будут отмалчиваться, а потом сами по очереди станут приходить к нему, чтобы посплетничать и осторожно донести друг на друга. И тогда он, не торопясь, восстановит всю картину ночных преступлений. Если чутье его не обманывает, и зачинщиками в самом деле окажутся эти и без того подозрительные казаки, он, да поможет ему в том Матка Бозка, выдаст их головами «царевичу», а тот пускай судит, как велит ему государская его совесть.

А покамест положил пан Ганнибал поскорее забыть сожженный безымянный хутор и загубленных его насельников. Однако именно это ему и не удалось.

Глава 2

Мстители трубят сбор

Сероватое скучное небо резко засинело вокруг огненно-го змея, когда делал он круг над пожарищем. Круто пошел бесовский летун на снижение и ударился об землю именно в том самом месте, где несколько часов тому назад гарцевал перед строем старый пан Ганнибал. Тотчас рассыпался змей снопом искр, а на его месте в облаке пепла и пыли явился золотоволосый добрый молодец, пожалуй слишком красивый для мужчины и слишком уж роскошно и чистенько одетый для такой лесной глуши. Озабоченно огляделся кудрявый красавец, и тотчас лицо его утратило несколько глуповатое, для соблазнения женского пола предназначенное, выражение.

Вдруг ноздри прямого носа красавца раздулись, он подскочил к колодцу, заглянув в него, всмотрелся – и отшатнулся. Увиденное столь поразило молодца, что на мгновение растаял он в снопе искр и блесток, но тут же снова вернул себе человеческий облик. Ибо убедился Змей, что не послышалось ему: из колодца раздались стоны, а потом и членораздельное:

– Прохожий... помоги...

Молодец метнулся туда-сюда, подскочил к обугленному

«журавлю», которым поднимали ведро с водой из колодца, завязал остатки веревки в петлю, потом, легко орудуя тяжелым камнем-противовесом, опустил петлю в колодец. Покряхтел-покряхтел, прижимая камень к земле, пока над срубом колодца не показалось бледное лицо. Простоволосый мужик вцепился в верхний венец сруба и с помощью подоспевшего молодца перевалился на землю. Был он в одной рубашке, прожженной в нескольких местах и выпачканной кровью, красные от холода босые ноги связаны. Молодец только прикоснулся к узлу, пальцы особым манером сложив, – и он распался, а концы веревки задымились.

– Ты кто, спаситель мой? – сверкнул на него белками мужик.

– Да Змей я, – просто ответил добрый молодец. – А ты кто, неужто батька Проворин? Так он же, Сопун, черноволос, мне помнится, а ты седой как лунь.

– Поседеешь тут... – вздохнул мужик. – Я еще разберусь, как ты, красавчик, ухитрился с моей Проворой спознаться... Лучше бы ты мне о ней не напоминал! Лежит бедная моя Провора здесь же, в колодце, мертва да зверски поругана... Все наши мертвы.

– Замучена она, значит, голубушка моя, – протянул молодец и пригорюнился едва ли не по-бабьи. – А тебе, Сопун, как удалось уцелеть?

Мужик еле заметно отстранился от своего спасителя. Принюхался и заговорил – осторожно, будто с сумасшед-

шим, что завладел топором и в любое мгновение может броситься:

– О! Не человек ты, ибо не пахнет от тебя ничем человеческим. Наверное, и вправду Огненный Змей – то-то удивлялся я, с чего бы это повадился ваш брат летать над нашим захолустьем? А как я спасся? Сил моих больше не стало видеть и слышать, что тут творилось, – и я вроде как умер. Есть такие тайные слова... А я ведь ведун. Ведаю, как и ты, кое-что.

– Да нет, я как раз ничего не знаю! Летаю себе по небу да к бабам и девкам подваливаю... Даже не припомню никак, откуда я взялся и почему мой златотканый кафтан никогда не грязнится. А вот ты... Слабым моим умишком смекаю, если умер ты и ожил снова, то уже тоже не человек. Ты теперь оживший мертвец, наша косточка. Вот ты кто теперь, Сопун.

Сопун осторожно ощупал себя. Вдруг охнул и страдальчески скривился.

– Черт, да у меня же пуля под левым плечом... Проклятый немец – и свинца на меня не пожалел... Как бы мне и взаправду теперь не помереть...

– А вот в меня можно стрелять сколь угодно – хоть стрелю, хоть пулей огненного бою! – похвастался Змей. И вдруг наморщил свой гладкий белый лобик. – Ты ложись и в зубы возьми палочку какую ни есть, потому как больно будет! Вытащу я из тебя твою пулю, мужик.

Послушно растянулся на земле Сопун, но перед тем, как

взять в зубы сучок, проворчал:

– Пулю вытащить – не хитрость, а вдруг затыкает она дыру в становой жиле, и я кровью изойду?

– Не бойся! А вот если сам не заткнешься тотчас же – язык как пить дать откусишь! Ну, поспеши мне на помощь, о всеблагой Симаргл!

Тут он приподнял колдуна, стукнул его легонько по левой лопатке – и в красивую и чистую, будто девичью ладонь Змея скатилась пуля. Была она большая, неровно круглая, вся в темной крови, и кровь, но уже алая, начала было заполнять дырку в груди Сопуна, однако Змей поднес к ране два своих хитросплетенных пальца. Между кончиками Змеевых пальцев и раной полыхнул огонь, и противно завоняло горелым мясом. Сопун перекусил сучок, выплюнул его и, замычав, засучил ногами по затоптанной траве.

Змей легко поднялся на ноги, присмотрелся критически к полам своего парчового кафтана, достал из левого рукава большой шелковый платок и тщательно вытер руки. И хоть рана у Сопуна продолжала пылать адским огнем, сумел он заметить, что пятна на платке исчезли прежде, чем Змей успел вернуть его в рукав. Силен, однако, девичий угодник! И, кажись, опять принялся хвастать...

– ...чистое оно, пламя, и рана теперь ни мокнуть, ни загнивать не будет. Прижечь тут – первое дело... Слушай, да что это с тобой, ведун, неужто и малой боли перетерпеть не можешь?

– Да ты оглянись, оглянись, боярин! Ведь это же батя мой!

Подбоченился Змей, поднял изломом правую соболиную свою бровь и крутнулся на каблуке. Невольно присвистнул: на сей раз никакой ошибки быть не может – кем же еще, как не ожившим мертвецом, может быть этот полуистлевший богатырь, ковыляющий к ним из леса напрямик через пожарище?

Ведь кожа на лице силача в местах, серой бородой не скрытых, зеленовата была, слизи подобна, и казалось, вот-вот должна будет уже облезть. Глаза – того беловатого цвета, что у живых бельма. Голова, как рассмотрел Змей, прочно склонилась к правому плечу. Щеголял великан в испачканной глиной и гноем длинной домотканой рубахе и в таких же штанах, на ногах имел некогда белые же ноговицы и под ними босовки – на живую нитку сметанные постолы из бросовой кожи. А зачем покойнику лучшая обувь, когда обычно он из могилы не выходит? И если из колодца несло начавшей разлагаться запекшейся кровью, то приближающееся существо толкало перед собою волну запаха застарелой мертвечины. Однако Змей, хоть и различал запахи, не умел, подобно людям, делить их на приятные и противные, а Сопуна не вывернуло наизнанку, потому что смердел его родной отец.

Сопун уже стоял на коленях и кланялся.

– Здравствуй, батя! Поведай, что привело тебя сюда из могилы?

– Здравствуй и ты, сынок! А мне теперь здоровья не по-

ложено, – прогудел мертвец, остановившись в сажени от колодца и белоглазый взгляд свой переводя с сына на Змея. – И ты здравствуй, боярин, не знаю твоего имени и отчества твоего!

– Просто Змей, отец, отчества не имею, а из рода я Симарглова, – легко поклонился красавец.

– Служильный татарин, значит. Да... – Мертвец поскреб у себя в затылке, пустив по ветру прядь серых волос. – А меня живого Серьгою звали. Вопросил ты меня, сынок, и я обязан тебе ответить. Так что не сетуй, если долго буду говорить: мысли в моей голове вот уж несколько лет, как стали ворочатся медленно. А что никак не засну в своей могиле, так это мне наказание за то, что в большой голод страшно согрешил я: человечину ел. Я и прежде многожды приходил к вам, но по ночам и тайным образом. На внуков я хотел посмотреть, срубили ли конюшню, любопытно мне было, да и – чего уж теперь скрывать – за пивом.

– Вот оно что... А я, батя, на брата, на покойника Тренку, грешил.

– Покойника? Когда же он успел окочуриться, вечный недотепа? Мне бы тоже жить еще и жить, да придавило меня, боярин, не в добрый час сосною, шею напрочь сломав. А вы... Что тут скажешь, оплакали вы меня и похоронили, как положено. Грех было жаловаться, сынок. Не забыли и слабости моей, что живой прилежен был я к питию хмельному, налили пива в настоящую стеклянную бутылку, в зеленую, не

пожалели сей дорогой вещи, из Киева привезенной, для старшего своего отца, положили мне в колоду под правую руку. Да только маловата оказалась та бутылочка для меня, такого огромного. Вот и ходил бутылочку наливать, пока не перестало пиво меня хмелить. А сегодня под утро, когда обычно в колоде моей холодает добре, неожиданно по земле тепло до меня дошло. Решил я было, что лес горит. Переждал я, пока огонь прокатится через погост, высунул нос наружу – а там никакого пожара. Ну, испугался тогда, что это вы погорели. Так оно и есть. А где остальной народ, сынок?

– Прости меня, батя, что не сберег я семью, – трудно, по-мужски, заплакал Сопун и склонил голову. – Все тут в колоде лежат, замученные. Моя вина, не сумел уберечь, старейшина хренов.

Мертвец все так же медленно подковылял к колодцу, нагнулся над ним и долго стоял неподвижно. Сопун поерзал на коленях, развернулся в сторону отца и снова застыл со сложенной головой. Змей закручинился: ему очень хотелось помочь этим, из-за бедняжки Проворы не вовсе ему чужим, мужикам, живому и мертвому. Да вот беда: только и умел он, что утешать одиноких баб, вдов да девок, потерявших жениха. Поэтому молчал красавец, порою тяжело вздыхая от полноты сердечной.

Наконец, Серьга, не отрывая взор от колодца, прогудел, как бы квакая посреди речи:

– А почему детишки... не разбежались? Кто-нибудь из

твоих... или Тренкиных... Глядишь, и схоронился бы кто из малых в чаще... Хотя бы и Ксанька... всегда живая, сметливая такая... И как ты, Сопун, живой оказался... коли все там полегли?

– И я там, батя, лежал с немецкой пулею в груди. Вот этот добрый чело... добрый Змей вытащил меня и лечил, когда ты пришел. А детишек как раз матери спать укладывали, когда эти нелюди приехали на Серьгин хутор. Мы ж его в твою честь, батя, назвали. Схватили иноземцы нас с Тренкой и давай спрашивать, признаем ли мы царевича Митрия за подлинного царя?

– Это какого же царевича? Не того ли, что про него слухи ходили? Неужто и вправду объявился?

– А как же, батя, объявился Митрий-царевич на нашу голову... Спрашивают нас, признаем ли его, так я догадался промолчать, а Тренка, любимчик твой, губошлеп великовозрастный, возьми да и ляпни, что на Руси вроде царствует православный царь и великий князь Борис Феодорович. Тут-то они на нас, яко звери, и набросились. Я теперь думаю, что, признай мы царевича, они с нами так же точно поступили бы.

– Ты верно рассудил, сынок. Теперь послушай меня, – мертвец повернулся к сыну, спиной опираясь на сруб колодца. Лицо его стало теперь ужасно. Настолько ужасно, что Змей невольно отвел глаза. – Будем мстить. Нехорошо оставлять такое без кары. Я бы зубами их порвал, да только мало у

меня зубов осталось... Придется руками на части раздирать, руки мои силушку еще не потеряли. А пулю прибереги, сынок: мы ею тем, кто тебя расстреливал, глаза продадим поближе к затылку.

– А у меня, батя, остались и зубы! – оскалился своими желтыми Сопун. И вдруг погрустнел. – Сперва добраться до них надо. Мы безлошадны, а они конные, уйдут далеко. Уже сейчас уехали они добре вперед, батя.

– Ничего, из этого леса супостаты смогут уйти одной только дорогой. Я уже придумал, как их задержать. А ты, боярин... Да нет, догадался я... Ты же тот Огненный Змей, что к бабам летает? Это ведь тебя, Змей, я видел над лесом полчасом раньше? Надежен я, что поможешь нам... Али нет?

Змей зарделся, переступил с ноги на ногу. Сопун покосился на его сапоги – красные сафьяновые, с золотыми узорами, на высоких каблуках. Продать такие в Путивле – хватит на трех коней, да не на лошадей рабочих, а на боевых коней с седлами, еще и на телегу с конем-работягой. Да только кто в ней может быть уверен, в бесовской работе: вдруг только стянет Змей удивительные эти сапоги с ног, как рассыплются они в пыль?

– Я бы рад помочь, дядя Серьга, – развел руками Змей. – Вот только надобно мне к вечеру навестить одну смугляночку в Бояро-Лежачах, по ту сторону Черного леса. Да ладно, подождет... Иное худо: не умею я с оружием обращаться, да и нет его у меня, как видите... Эта сабелька на боку, она и

не настоящая вовсе.

– Да имеется у тебя оружие, Змей, – криво усмехнулся Сопун. – Вот только, как разумею я, против баб оно.

Покраснел Змей, закусил губу и уже начал было растворяться в облаке искр, когда мертвец неуклюже поклонился ему:

– Прошу тебя, господин Змей, не обижайся на моего сына-дурака. Ты, легкий и скорый летун, очень нам помог бы, если бы хоть до вечера с нами остался. Вот, к примеру, хотел я тебя спросить: ты с нашим домовым, с Домашним дедушкой, не знаком ли случайно?

– Совершенно случайно знаком, почтеннейший Серьга, – ответил Змей, сразу раздумавший улетать. – И вот что мне сейчас в голову пришло: странно, что Старый дедушка не выполз из своей норы, как услышал твой голос, дядя Серьга. Ведь от неживого не нужно ему таиться, а любопытен чрезмерно. Прячется же он обычно...

– Да знаем мы, где его логово, Змей! – вскинулся тут Сопун и тотчас же, болезненно сморщившись, покосился на левое плечо. – Уж не сгорел ли Дедушка давеча вместе с избою?

Змей ласково надавил ему на правое плечо, заставив снова сесть. Предложил сам привести Старого дедушку, коли жив еще тот: сварлив и зол старик и, если пострадал на пожаре, может сгоряча накинуться и на неповинных людей.

Танцующей своею походкой направился Змей к печи

большей из изб: закопченная, она торчала на пожарище как горькое напоминание о кипевшей еще вчера вокруг нее людской жизни. Сопун попытался было заикнуться, что сейчас им не в пример полезнее было бы ударить челом лешему, однако отец оборвал его:

– Сам ведаю, сынок. Всему свое время.

Тут возвратился Змей, принес на плече Домашнего дедушку – и в самом жалком виде, что и обнаружилось, когда положил ношу на вытоптанную траву. Был он раньше домовой как домовый, а стал теперь маленьким нагим старичком, с голой, вроде бы как лысой, головою, только черные точки на месте выгоревших волос и остались, точно так же и на лице у него, и, видать, на теле все волосы истлели в огне. Дышал хоть, слава богам, а если точнее, то натужно, не в лад, хрипел.

– Угорел, бедный, в своей печи, наглотался дыму. Ничего, на лесном воздухе оклемается, – пояснил Змей, заботливо отряхивая свой кафтан.

Живой мертвец пошевелил остатками своих кустистых бровей, трудно повернул голову к сыну. Прогудел:

– Делать нечего... мало сейчас от Старого дедушки толку... Пойдем мы пока что... Лесного хозяина вызывать... Давай поднимайся, сынок... только осторожно.

Выяснилось, что хоть и нетвердо, но стоит Сопун на ногах. Огляделся колдун, промолвил раздумчиво:

– Допустим, я до березовой рощи доковыляю как-нибудь.

А чем будем березки рубить? Выходит, батя, нам так и так к моей охотничьей избушке брести. Ведь без своей волшебной лечебной мази я и загнуться могу. Ой, прости, батя...

– Пустое... На что тут мне обижаться? Но главное для нас сейчас – с лучшим договориться, потому как только ему под силу не выпустить врагов из леса. Подождет твоя избушка... А березки я и руками с корнями вырву...

– А я тебе, Сопун, помогу дойти до рощицы. Это где она тут? На восход солнца, что и дорога на Путивль? Цепляйся, друг, – подставил Сопуну свое плечо Змей.

И они пустились в путь той же дорогой, что и несколькими часами ранее иноземные воинские люди. Перед скорбным колодцем на маленькой площади, которой явно светило обратное превращение в лесную поляну, остался лежать только голый домовой. Жалкий и маленький, он скорчился, будто младенец в животе у матери. Хрипы его вдруг утихли, и Старый дедушка ритмично засопел – совсем как немолодой мужчина, спокойно заснувший в собственной постели.

Однако недолго это место оставалось безлюдным – ведь спящего домового духа с человеком можно только сравнивать, а трупы в колодце людьми, конечно же, оставались, но их безмолвное и скрытое присутствие только подчеркивало пустоту пожарища.

Сначала треск раздался в кустах папоротника и дикой смородины, и вскоре оттуда выполз на спине, локтями от земли отталкиваясь, поджарый бородач в темно-коричневой

рясе. Простоволосый, босой, без дорожной сумы, без пояса и всех висящих на нем необходимых в дороге вещей, даже креста не имел он на шее – однако, судя по одежде и особой повадке, принадлежал к монашескому чину. Был это тот самый православный монах, об ограблении которого своими головорезами вспоминал пан Ганнибал. Вот только думал бывший ротмистр, что чернец лежит в колодце вместе с прочими жертвами, а тому удалось вечером спрятаться от пьяных убийц в кустах.

Пока полз чернец через поляну, едва не ткнул он локтем в затылок домовому, а тот, и в беспамятстве почуяв присутствие служителя Христова, снова принялся хрипеть. Добравшись до колодца, несчастный передохнул. На ноги встать он не мог: обожженные, в струпьях, были они обернуты сухими лопухами, а и те в большинстве своем свалились на пути к колодцу. Поэтому монах, как и колдун до него, на руках подтянулся на краю сруба, заглянул вовнутрь... Лицо его, все в синяках, сморщилось, он расслабил пальцы, повалился на бок возле колодца и громко заплакал.

Глава 3

На ложе захолустной корчмарки

Некрасивый юноша лет двадцати пяти, называвший себя царевичем Димитрием, а на самом деле неизвестно кто, давно уже не чувствовал себя таким телесно счастливым, таким расслабленным. Обнаженный, валялся он на грязной трактирной постели и прислушивался одним ухом, глаз не раскрывая, к легкому плеску воды. Это смазливая шинкарка, с которой он всю долгую осеннюю ночь пробарахтался, возилась в темном углу светлицы с кувшином и тазом. Слева сия пышнотелая наядя плескалась, белыми своими бедрами рассеивая утреннюю полутьму, а справа, на колченогом табурете у стола, была сложена его одежда, а на скамье и под скамьей у стены – латы и прочее походное имущество. Некрасивый юноша ухмыльнулся: там, в одном из дорожных мешков, лежит и лубяная коробочка с киево-печерским подарком. Не помешал ему ночью святой Моисей Угрин, и слава Богу, что только сейчас вспомнилось о частице его мощей! Возможно, впрочем, что чудотворец и чернецам помогает побороть похоть только тогда, когда его о том попросят...

– Эй! Как тебя там? Забыл я, молодуха, как тебя дразнят...

– Анфиска я, надежа-государь, вдова я...

– Не изведи всей воды, оставь мне умыться, Анфиска.

– Да я тебе теплой принесу, надежа-государь, стоит тебе только приказать. На печи чан стоит еще с вечера. Тебе ведь окатиться надо после грешной-то ночи...

Он открыл глаза и присмотрелся к белой и стройной, будто на картине «Суд Париса», обнаженной спине Анфиски, протянувшей руку к грядке, чтобы сдернуть с нее свою рубашку. Та, на картине, как ему объяснили, была прекрасная Хелена (или все-таки Венера?), и она тянулась к яблоку, которым принц Парис должен был отдать ей первенство. Картину эту любознательный юноша видел в Кракове, в столичном королевском дворце. Теперь он развесит такие картины в замшелом Московском Кремле – и кто посмеет ему запретить?

– Да ты не одевайся, Анфиска. Вернись на кровать. Поболтаем еще...

– Ой, стыдно, надежа-государь...

Тем не менее мгновенно оказалась рядом с ним – и по-прежнему в чем мать родила. Глазки так и блестят... Смешная. Простенькая слишком. Глазки те же чересчур широко расставлены. И полные грудки в разные стороны торчат.

– Что ж ночью не стыдилась, Анфиска? Заездила ты меня, право: руками-ногами не могу пошевелить...

Она захихикала, прикрывая ладошкой свои вычерненные, по московской моде, зубы. Любезный юноша присмотрелся: нет, не ошибся он – лиловый синяк красуется на тугом пле-

чике, а еще один на левой груди. Да и на ягодицах, помнится, тоже...

– А синяки где заработала, красавица?

– Да все немцы проклятые щиплются... Бесстыдники. Однако досталось бы мне и похуже, если бы ты, надежа-государь, на меня глаз свой царский не положил.

– Будто сама не знаешь? Когда войско проходит, следует рожу сажей намазать. А еще лучше спрятаться.

– И что же мне было – с сажею на рожу корчемствовать? Да кто бы со мною, замарашкой, захотел бы расплачиваться за съеденное, выпитое да зажилое? Нет уж, такая моя доля, надежа-государь, а долю конем не объедешь.

Некрасивый юноша взглянул на нее заинтересованно: его и самого пока в жизни имели чаще, чем ему удавалось кого-нибудь поиметь, – и не только фигурально, как выражался отец Лактанций из иезуитской школы в Люблине: тот и сам был очень даже не прочь – не фигурально... Однако зачем он в такую минуту о былых невзгодах? Вот кстати напомнила...

– Чуть не забыл... Возьми, красавица, на столе большой кошель, там и малый есть, а ты большой возьми. И отсыпь из него себе столько монет, сколь в ручке своей удержишь.

Он снова прикрыл глаза. Под шелест и позвякивание возле стола подумал лениво, что успел растратить колоссальное богатство – и, надо же, нисколько о том не жалеет. Добрый король Сигизмунд не только пообещал сорок тысяч злотых ежегодной субсидии, но и выдал вполне приличную сумму.

Будь он и вправду ловкий мошенник, как твердят его враги, что помешало бы ему с этими деньгами удрать к туркам – сначала в Молдавию, а там и в Царьград? Только бы его и видели! А принял бы ислам, не выдали бы никогда турки. Если из православия перешел он в католичество, то из католичества в мусульманство перейти тоже не бог весть какой подвиг – в чем, в сущности, между сими confessiones разница? Если по правде, то все веруют в единого Бога, а православные, католики и мусульмане – даже и в одного и того же, к тому же в иудейского... Славно пожил бы у турок на королевские тысячи, надолго бы их хватило. Однако ему ведь не деньги нужны, деньги теперь не главное... Он усмехнулся: ему совсем не нужно было прислушиваться, не роемся ли ночная прелестница в его вещах. Боже мой, до чего же изменилась его жизнь, и как сладко ощущать свое новое, независимое, поистине великолепное положение!

Ага, вернулась. Прилегла на него. Будет по-своему, по-бабы благодарить... А он и не против.

– Ты такой сильный, надежда-государь, – замурлыкала. – Такой сильный: по мне сей ночью будто рота рыцарей проскакала... Неутомимый, словно славный богатырь Илья Муромленин, вот ты какой...

– Илья-то, слышал я, из здешних мест?

– Да, говорят, что из Моравска.

– А Моравск добровольно перешел под мою царскую руку. Мало того, тамошние дети боярские привезли мне нало-

ги, собранные для ложного царика Бориски Годунова, – произнес некрасивый юноша с нескрываемой гордостью, глаз, впрочем, не открывая. – И не один Моравск – сам Чернигов мне сдался. А подойду к Путивлю, и он мне ворота откроет. Мое имя сильнее оказывается, чем самые крепкие крепостные стены.

– Да ты, надежа-государь, уже сейчас славен, как древний богатырь Илья. Песен про тебя пока не слыхала, врать не буду, а вот повестей сколько о тебе ходит! Все только о тебе и говорят, надежа-государь!

– А не врешь?

– Зачем мне врать? Ты уже наградил меня по-царски, для чего мне перед тобою заискивать? Поедешь прямо сейчас, я же знаю, надежа-государь. Жаль мне, конечно...

– И чего же тебе жаль, красавица? – лениво спросил любезный юноша и зевнул.

– Жаль, что неплодная я. А то ребеночка бы тебе родила, надежа-государь, – и спрятала лицо у него на груди.

– А я и сам уразумел, что неплодная. Живот у тебя вон гладенький какой. И лучше для тебя, Анфиска, что неплодная ты. Думаешь, тебе так просто и дозволили бы родить царю ребенка?

Она замерла на его груди – от страха, что ли? Державный юноша вздохнул: ему известны были ужасные и бесстыдные способы, к которым прибегал отец, царь Иван Васильевич Грозный, чтобы его наложницы не могли забеременеть от

драгоценного царского семени. Пересказывать все эти гадо-сти сейчас простушке Анфиске значило ее без толку пугать. А зачем? Самого некрасивого юношу похабные подробности могли бы сейчас подзадорить (знал такое за собою), однако ему не хотелось больше бурных соитий, хотелось подремать в жарких объятиях молодухи. Благо тут приятно натоплено, однако не воняет дымом: печь стоит в соседней горнице, а сюда выходит только ее раскаленная стенка. Это лучшая из двух спален для проезжающих, и впредь теперь только так и будет: отныне ему всегда предстоит получать в корчмах, гостиницах, палатах и дворцах лучшие покои. Державный юноша снова зевнул и подумал, что грозный его отец вызвал бы сейчас сказочников, чтобы легче заснуть. А чем Анфиска хуже? Да ничем...

– Почему бы тебе не поведать, красавица, что ты обо мне от людей слышала?

Она встрепенулась и принялась звучно целовать его в без-волосую, будто и не мужская вовсе, грудь:

– Слава Богу! – проговаривала между поцелуями. – А я уж думала, что рассердила тебя своими глупыми речами... Отчего ж не рассказать, надежа-государь?

Притаилась тогда, значит... В самом деле глупа – или прикидывается, чтобы его потешить? Опять ее затылок оказался у него чуть ли не прямо под носом: от гладких волос Анфиски пахло квасом, с которым небось она на ночь их расчесывала. Поневоле припомнились любезному юноше волосы на

голове его нареченной невесты, вельможной девицы-полячки Марины Мнишек, – пушистые, воздушные, выложенные в какую-то сложную, башней, прическу, надушенные, напудренные так, что вблизи волоска и не разглядишь. Потому что не подпустит к себе так близко, семнадцатилетняя гордячка. Припомнилась ему Маринино к нему как бывшему холопу презрение, его горячность, который только недотепы-поляки могли принять за проявление пылких галантных чувств. Хер вам! Злость тогда им двигала, отчаяние! Ведь из-за строптивой девчонки могла обрушиться вся его замечательная задумка. А Марина... Говорили ведь о ней знающие люди, что отнюдь не глупа. Неужели она не понимала, когда кочевряжилась и безжалостно ставила assentus на своем полном равнодушии к нему, что тем самым закладывает пороховую мину в fundamentum их будущей семьи? И чего было кочевряжиться, спрашивается, когда обо всем давно было договорено с ее отцом, лукавым паном Юрием Мнишеком? Если бы не развеселый пан Ержи с его светскостью, обширнейшими родственными и дружескими связями, он до сих пор мотался бы по Польше, уговаривая шляхтичей выступить с ним в поход. И сам нареченный тесть поехал, не побоялся, изнеженный, избалованный судьбою, походных неудобств и опасностей войны... А с одними казаками, что запорожскими, что донскими, на регулярное войско Бориса Федоровича наступать не приходится. Иное дело – немцы-мушкетеры, иное дело – закованная в железо рыцарская польская конница... За-

бавно все-таки, что в его жизни есть и панна Марина, которой он много чего наобещал, и такая вот Анфиска, которой от него многого и не нужно. А если припомнить птолемееву систему, то бабы крутятся вокруг него, словно планеты вокруг Земли: панна Марина где-то далеко, за хрустальной сферой, как некая Сатурналия, а Анфиска совсем близко, и в сфере вовсе не хрустальной, а грубого стекла, да еще сальными пальцами залапанной...

– А ты не спишь, надежа-государь?

– Рассказывай, красавица, ведь обещала...

– По-разному говорили про тебя, когда еще в заграничных палестинах скитался, и сейчас, когда явился ты в Московскую державу во всей силе своей... Право, не знаю, с чего начать, надежа-государь.

– А ты поведай, Анфиска, что более на сказку похоже...

– Ой, да вся твоя история настоящая сказка!

Загадочный юноша улыбнулся. Сам он свою жизненную историю назвал бы не волшебной сказкой, а жалостной песнею об одиноком молодце, умирающем в чистом поле между трех дорог. До недавнего времени назвал бы. А теперь – разве сам он не сказку творит? Вон оставил пышной Марине заручную запись, по которой обязался не посягать на ее католическую веру и отдать ей в полное владение Великий Новгород и Псков, причем она сможет сохранить эти города за собой даже в случае неплодия. Это кроме огромных денег, а также алмазов и прочих драгоценных камней. Неужели не

поняли заносчивая девчонка и ее веселый папаша, что обещанное – это вроде сказочных трех царств, золотого, серебряного и медного? Талеров и злотых он отсыплет ей щедро, а также драгоценных камней, если не растратил Борис эту казну, закупая хлеб для простонародья в голодные годы. А вот Великий Новгород и Псков... Жалким дурачком он был бы, если бы отдал вздорной полячке русские города с богатейшими землями, присоединить и удержать которые прежним московским государям удалось только великой кровью...

– И тебя неправдивый царь Бориска, обманом севший на царство, ненавидел как настоящего государя, единственного живого сына государя царя и великого князя Ивана Васильевича. И сослал он тебя вместе с малым двором твоим в Углич...

Державный юноша ухмыльнулся. Пока что Анфиска говорит настоящую правду. Но он не помнит тех событий, ему тогда и трех лет не было... И в том случае, если на самом деле он есть чудесно спасшийся московский царевич, и если даже и кто иной (об этой возможности – молчок!), человек не может помнить того, что происходило с ним во младенчестве.

– А потом, когда царик Бориска решил убить тебя, чтобы не иметь в будущие времена соперника, то сначала посылал он к тебе отравителей, а потом женку-чаровницу, чтобы тебя испортила. Но рядом с тобою был верный твой дядька, и он все царевы козни... как это?.. Да ладно, скажу я по-простому: похеривал он все Борискины козни.

Странное дело, подумал таинственный юноша, теперь многие уверены в том, что Борис Годунов желал его смерти. Да откуда им знать? Ведь едва ли всевластный царский шурин, твердо и уверенно правивший вместо слабоумного Федора Иоанновича, рассказывал направо и налево о таких предосудительных своих желаниях. Борис для того слишком умен и расчетлив. И что бы о нем ни говорили, это ловкий делец и – пока еще – весьма удачливый. Захотел бы отравить мальчика-царевича, так отравил бы. Все слухи одни, все людская молва... Хотя, когда он уже объявил себя, о неудачных попытках извести царевича Димитрия напоминали ему очень многие люди, в том числе достаточно осведомленные.

– И тогда Бориска послал к тебе убийц. Они приехали в Углич, однако не удержали языков, и слух о том, что тебя, невинное дитяtko, намереваются смерти предать, дошел до матери твоей, царицы Марии, и до твоего верного дядьки. А они уже давно подготовили подмену – мальчика-сиротку, которого тайно передали на воспитание одной просвирне. А он был на тебя очень похож, только немного придурковатый. И вот они приводят тебя тоже тайно к той просвирне, а там надевают рубище мальчика на тебя, а его в твои шитые золотом одежды. Оставляют тебя у просвирни, а сами возвращаются с мальчиком во дворец. Накормили бедняжку по-царски и свели во двор поиграть. А тут как раз прибежали посланные Бориской убийцы и, словно лютые звери, бросились на мальчика и зарезали его. Кто-то из угличан ударил в ве-

чевой колокол, сбежался народ и разорвал убийц на месте...

Почему никто не думает о том, что и мальчик, убитый вместо царевича, тоже был невинным дитятей, имел бессмертную душу и такое же право на жизнь, как и царевич? А за что убили тогда его, царевича, няньку и ее сына? Ладно, пусть ее сын и племянник дьяка Данилки Битяговского, присланного в Углич Бориской, были убийцы. Однако в любом случае розыск показал, что на горле мертвого царевича была одна-единственная рана. Не были ли нянька и ее сын убиты для того, чтобы не выдали тайны подмены? Розыск вели окольный Клешнин и боярин князь Василий Иванович Шуйский, из Рюриковичей, быть может, самый родовитый из московских бояр. Они доложили Бориске, что царевич играл в детскую игру «тычку», или «ножичек», с другими детьми. Как раз тогда, когда он должен был бросить ножик от своего горла, чтобы тот воткнулся в землю, с царевичем случился припадок падучей болезни, и он сам нечаянно зарезался. Вот так. Если окольный и боярин соврали в главном, то они не с потолка же взяли, что царевич любил эту игру или что он болел падучею болезнью? А у некрасивого юноши никогда не было приступов падучей, ему ли не знать. И хотя, пока не отдал его названный отец в иезуитскую школу, он, как и всякий русский мальчик, носил на поясе ножик, как раз играть в «тычку» никогда не любил...

– А когда пришла весть, что на Углич идет войско царя Бориски, чтобы чинить суд и расправу, дядьке пришлось взять

спасенного царевича и вместе с ним бежать из Углича. Сперва скитались они, старый да малый, в родной земле, а потом дядька увез царевича за кордон, в Литву...

Загадочный юноша потрепал шинкарку по гладкой попе. Да, покушение на жизнь царевича и бегство из Углича он должен был бы помнить: было тогда царевичу Димитрию уже десять лет от роду. Однако он вообще не помнит ничего, что с ним происходило, именно до этого возраста. Спутник его, которого он до шестнадцати лет считал своим отцом, рассказал ему, что после перехода через польскую границу, в Остре, заболел он тяжело весьма, огненной горячкою, а когда выздоровел, уже не помнил ничего из того, что было с ним раньше, и даже своего имени. Если и в самом деле он-то и есть царевич Димитрий, такая болезнь понятна: легко ли было ребенку, привыкшему к роскоши дворцовой жизни, разом испытать, будто в холодную воду окунувшись, тяготы жизни беглеца и изгнанника? А если даже и не царевич он вовсе, а настоящий царевич Димитрий вот уже полтора десятка лет лежит в сырой земле, то и тогда он отнюдь не самозванец, как называют его враги. Объявил его царевичем тот самый человек, который до того втолковывал ему, что они, отец с сыном, сбежали из Москвы, потому что отца, подьячего, преследовал и хотел засадить в тюрьму его начальник, всевластный думный дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов; отец-де так боялся дьяка, что сменил имена обоим, равно как и родовое прозвище.

Некрасивый юноша помнил, как будто вчера это было, тот пасмурный день в Люблине, когда за ним в аудиторию пришел надутый отец Лактанций. Не говоря ни слова, он доставил перепуганного подростка в келью ректора, где ждал его отец – вконец постаревший, худой, как скелет, будто и не жилец уже вовсе. Ректор отец Гортензий одним властным жестом отпустил его, безмолвно перечеркнув четыре года школьных мучений, а отец привел к себе, в каморку, которую снимал у крикливой люблинской мещанки. Там всю ночь, закашливаясь на каждом втором слове и сипя, он рассказывал подростку о царском его происхождении и чудесном спасении, открыл, что не отец ему, а воспитатель, дядька. Единственным доказательством его слов оказалась сбереженная во всех скитаниях и передрыгах маленькая иконка святого Димитрия Солунского, оклад которой был усеян драгоценными камнями. Этот и после признания своего самый близкий для новоявленного царевича человек попросил побыть с ним, пока не отойдет к Господу, а потом идти на двор князя Ивана Мстиславского, тоже московского беглеца: он уже договорился с князем, что тот возьмет его сына в слуги. Нелучшая должность, но для будущего русского царя лучше пережить трудное время в слугах, чем выучиться в иезуитской школе и, чего доброго, еще вступить в орден иезуитов. С ними и не заметишь, как залезут тебе в душу...

Относительно иезуитов, конечно же, был он прав, не то дядька его, не то отказавшийся от него ради славной будущ-

ности сына настоящий, родной отец. И до сих пор благодарен таинственный юноша князю Константину Константиновичу Острожскому, хитрому и въедливому старцу, за то, что отправил его, уже двадцатилетнего своего слугу, поучиться, а скорее потолкаться в арианскую школу в Гоще. Властвуя над тремястами городами и местечками, владея тысячами сел с крестьянами, вполне мог бы князь Константин и самостоятельно, на свой кошт набрать ему войско для возвращения на московский престол. Старику уже под восемьдесят, тяжел он на подъем, да и не поверил, видать, его истории, прикинулся, что не понял весьма прозрачных намеков... Однако приказ засветиться в протестантской школе был очень хорош. Если бы в Москве узнали, что он у иезуитов учился, еще неизвестно, как повернулись бы сейчас дела...

– И вот ты открылся верным людям и показал им свои царские знаки на теле... Ой! – И прелестница в испуге закрыла ротик ладошкой.

– Побоялась спросить, где мои царские телесные знаки? – зевнув, осведомился некрасивый юноша вполне добродушно.

– А я слыхала, что у тебя в груди золотой крест, – призналась Анфиска.

– Бабские басни, – отмахнулся великодушный юноша и снова смежил веки. И вдруг засмеялся тихонько, будто исподтишка. – Вон он, мой царский знак, – между ног!

Она похихикала, а он продолжил вдумчиво, будто кому

достойному того объяснял:

– Телесно цари суть такие же люди, как и все прочие. Вот у меня на скуле бородавка в том самом месте, где была бородавка у моей покойной бабушки, у великой княгини Елены Глинской. Да и все, кому доводилось видеть меня в детстве, сразу узнают меня! А дойду до Москвы, тогда меня и мать моя несчастная, инокиня Марфа, узнает – если не изведет ее до того отравую хитроумный царик Бориска.

А про себя добавил: «Куда денется, признает меня матушка, если захочет из монастыря вырваться и во дворце царицею-матерью жить». Предусмотрительный юноша хотел было уже прикрикнуть на сладкогласную шинкарку, чтобы замолчала и дала ему, наконец, всласть подремать, когда его чуткое ухо уловило стук в дверь. Даже и не стук, а легкое поскребывание, словно вымуштрованный пес просится в комнату.

– Поди узнай, в чем дело? – ласково спихнул с себя шинкарку. А сам наставил ухо, прикидывая, не слишком ли далеко от себя оставил меч: хоть и парадная железка, а все лучше, чем ничего.

– А тебе тут чего, Анфиска? А-а-а, понял...

– Говори лучше, зачем притащился, Спирька.

– Там паны охраны волнуются. Пан капитан говорит, что войско, как и было ему приказано, поднялось до света, а ушло рано утром... Говорит, что наши могут неожиданно наскочить... А их, мол, рыцарей, горстка...

– Какие, мать твою, «наши»? Смертушки моей хочешь?

Ты что ж, непутевая твоя голова, с утра глаза залил?

– Ну, наши, московские которые...

Державный юноша с трудом удержал смех, потом проговорил нарочито сладким голосом:

– Анфисушка, милая! Возьми у меня из большего кошелька еще несколько дукатов, а твой слуга пусть поставит страже еще вина и закуски. Пусть славное рыцарство во второй раз позавтракает. А буде спросит пан капитан, чем царь московский Димитрий занят, отвечать, что важным государским своим делом!

Глава 4

Непростая дележка добычи

Памятуя, что голодный куда злее сытого, пан Ганнибал разрешил делить добычу только после завтрака. Впрочем, без обычного горячего кулеша это и завтраком назвать было нельзя: до речки оказалось дальше, чем ему помнилось, а народ проголодался, потому и позволил пан Ганнибал своему кашевару отхватить для каждого по доброму куску от взятого в хуторе окорока. И сам, отрезая кинжалом одну тоненькую скибку за другой и тщательно прожевывая передними зубами, осилил он свою долю – хоть и отдавала эта прокопченная свинина диким кабаном, показалась она на вкус вполне терпимой. А вот пивом, как ни мучила его жажда, побрезговал: перешел к нему последний из хуторских бочонков после того, как дыру в нем уже обмусолила чуть ли не вся благородная компания.

Из способов дуванить добычу пан Ганнибал выбрал тот, который считают самым справедливым и в войске, и в разбойничьей ватаге. И сразу же, не мешкая, один из казаков, Тычка по имени, забрался на телегу с хуторским скарбом, а другой, рыжий здоровяк (как его там? ага, Бычара), повернулся спиной к телеге.

Пан Ганнибал тотчас догадался, что каналы успели сго-

вориться (а в таком случае открываются замечательные возможности для жульничества), и остановил казака, принявшегося уже рыться в кузове:

– Пане Тычка! Не годится тебе, рыцарю, товарищу войсковому славного его королевского величества Войска Запорожского, в грязном мужицком хламе ковыряться! Давай сюда, к нам!

Казак побагровел, положил руку на сабельную рукоятку, однако не нашел чем ответить на лесть бывшего ротмистра, и тяжело спрыгнул на землю. Пан Ганнибал поднял правую бровь, подбоченился и коротко кивнул младшему из самборских мещан, Федку.

– Давай, пане Теодор, послужи, проше пана, нашему товариществу!

Тогда, распахив товарищей, к телеге протолкался самый матерый из казаков, атаман их, так называемый Мамат. Уставился на пана Ганнибала налитыми кровью глазами:

– Добро, пане ротмистр, пусть будет по твоей, шляхетской, воле! Но тогда нехай и твой монашек скинет не раздуваненный тулуп!

– Да ради Бога, пане Мамат! И я то же самое с утра талдычу пречестному отцу Игнацию!

Тут монашек, с бороды Маматовой на усы ротмистра взор свой испуганный переводя, забормотал умильно:

– А разве себе я взял, панове? Правила запрещают мне иметь любую собственность, вот я и позаимствовал шубу во

временное пользование...

Недослушав отца Игнация, зверообразный Мамат ловко сдернул с его плеч кожух и бросил на телегу. Второй казак снова повернулся к телеге спиной.

Федко шмыгнул носом и, не теряя времени, поднял над головой деревянную баклагу:

– Кому?

– Тебе, недотепа!

– Кому?

– Мамату.

– Кому?

– Немцу тому долговязому, как его... Гансу.

Под крики, ворчанье и свист, сопровождающие дележку, пан Ганнибал принялся перебирать в памяти события той ночи, когда ему фатально не повезло в кости. Ему уже не так стыдно было вспоминать, как в первые дни после несчастья, и он пытался определить переломный момент в той игре, когда еще мог спасти дело, прекратив делать большие ставки... Вдруг наступила тишина, и пан Ганнибал почувствовал, что все глядят на него. Что там еще?

– Тебе, сиятельный пане, – это Федко, вытаращившись на него, поднял за полу над опустевшей телегой злополучный кожух.

– А... Жертвую отцу Игнацию! – прокричал пан Ганнибал и вернулся к своим невеселым воспоминаниям.

Возня возле телеги продолжалась, и мелькнула в голове у

бывшего ротмистра мысль, что большой хозяйственный горшок в переметной суме у сумрачного Тычки едва ли добавит тому боеготовности и что прежние его подчиненные, гордые шляхтичи-гусары, не кидались грабить убогий крестьянский инвентарь. Да ладно, сами шляхтичи этим брезговали, а вот слуги их, те тоже последней деревянной ложки не пропускали... Тут вклинилось неприятное воспоминание, связанное с последним грабежом, пан Ганнибал отогнал его и принялся в двадцатый раз вспоминать, как держал главный его обидчик, молодой пан Хмелевский, коробочку для костей, когда сделал тот роковой для пана Ганнибала бросок. И снова пришел к выводу, что сжальничать, засунув палец в коробочку и придерживая кости в нужном положении, молодчик сумел бы только в том случае, если предварительно отвел всем прочим игрокам глаза...

Рядом раздалось нарочитое покашливание. Да и по запаху узнал пан Ганнибал своего оруженосца Тимоша, такого же, как и хозяин его, старика. А старики отнюдь не аромат розовой воды испускают.

– Чего тебе, Тимош?

– Сдается мне, пане ротмистр, что должны были мы уже выйти к речке.

– А ты припомни, когда мы с тобою последний раз бывали в этих краях... То-то! Те пути, Тимош, что в молодые годы короткими кажутся, в старости удлиняются еще так... Давай теперь разбираться, старый, верный слуга...

– Осмелюсь напомнить, пане ротмистр, что, с Бакаева шляху свернувши, взяли мы влево.

– Точно, влево. Понятно, что войско царевича Деметриуса прошло Бакаевым шляхом, но кто мог знать, не замкнула ли снова в его тылу шлях московская застава? Русские пограничники – ребята лихие... Наш же отряд слишком мал, к настоящему бою негоден.

Тимош крикнул, сдвинул шапку на лоб, поскреб бритый затылок. Жест этот означал, что решение хозяина он не одобряет, но и возражать вслух не считает нужным. А сейчас, напротив, поищет довод в пользу не понравившейся ему господской мысли... Пан Ганнибал усмехнулся: вот именно поэтому Тимош, человек неглупый, не робкого десятка и, в принципе, везучий (жив ведь до сих пор!), так и не выбился за всю свою жизнь из оруженосцев. Тут Тимош, глядя в сторону, заявил:

– Ну, казаков уж точно было не удержать, захотелось парням пограбить... Ведь свернули на проселок, пробитый на две колеи, а не на звериную тропу.

– Ладно, грабеж грабежом, а с убийствами надо будет еще разобраться, – нахмурился пан Ганнибал. Пусть и другим перенесет, что безобразия не сойдут им с рук. Послушнее будут. – Но не прежде, чем окажемся в стане царевича. Важнее, что свернули мы на юг, а с хутора дорога шла на восток. На первой же развилке надо брать вправо. А к Сейму выйдем в любом случае.

– Люди перетерпят, пане ротмистр. А вот кони не напоены. Не пивом же было их поить? – с вызовом, будто именно его хозяин был виноват в этом обстоятельстве, спросил Тимош.

Пан Ганнибал спрятал ухмылку в усы. Он мог бы рассказать о гусаре, который вот именно и поил своего коня пивом, а при случае так даже дорогущим фряжским вином. И как тот же чудака приучил бедное животное и трубку курить, что особенную сенсацию производило в рядах неприятеля. Однако он не стал об этом рассказывать. Во-первых, не дело шляхтича развлекать своего слугу. Во-вторых, если ему вспомнилась эта забавная история, то она известна, разумеется, и его тени – оруженосцу.

– Пане ротмистр, вопрос к тебе имею от казацкого сотоварищества! – Это опять Мамат чем-то недоволен. – Почему этот дурень Федко не желает дуванить селянских лошадей и телегу? Когда ты отдал ему этот приказ? Что это за шуры-муры за спинами вольного рыцарства?

Из-за спины казака выглянул бледный Федко: казалось бы, невозможно еще более вытаращить глаза, но ему это удалось. Схватился за крест на шее и просипел:

– При чем тут, пане ротмистр, вельмишановное рыцарство? Да меня убили бы на месте те, кому достались бы только домотканые штаны или горшок!

– О! Надо же! – улыбнулся пан Ганнибал. – Пан Федко рассудил очень здраво! Я также предполагал пока телегу и

лошадей оставить за отрядом... Как это в юриспруденции называется, отец Игнаций?

– В совместной собственности, пане ротмистр, – не замедлил с ответом иезуит.

– Вот-вот... А как придем в лагерь, там продадим, а деньги честно на всех поделим, как поделили казну того монашка-схизматика. Пока же предлагаю передать двух не запряженных лошадок пешим вашим товарищам, немцам. Пока в стан московского царевича не придем, то бишь не насовсем, а как это, отец Игнаций?

– Во временную собственность, сиятельный пане ротмистр.

– Вот-вот... Уж не знаю, почему не обзавелись они до сих пор конями и седлами, да только в таком опасном походе ждать, пока немцы за нами пешком тянутся, нам не приходится. Хотят – пусть едут охлюпкой, а хотят – пусть мушкетеры свои и снаряжение навьючат, а сами бегут, как прежде, за чужое стремя держась. А на общую телегу всем остальным сложить поклажу, которая во внезапном бою (не дай нам того Бог!) помешать может. Править же телегой попросить по-прежнему пана Федка, с тем чтобы к задней грядке привязал оседланного коня своего. Любо ли вам такое мое предложение, панове запорожское рыцарство, панове честные немцы, и вы, славные мещане города Самбора?

Нестройное «Любо!» и «Йя!» заглушили ворчанье кое-кого из казаков, и пан Ганнибал с полным правом подытожил:

– А коли любо, то по коням, панове! С нами Бог и милостивая его Матерь!

– Амен, – склонив голову, оставил за собой последнее слово монашек.

Однако, когда выстроились в походный порядок, обнаружилось вдруг, что пропал Хомяк, второй мещанин из Самбора. Не такой бойкий, как приятель его Федко, был он парнем вполне незаметным, однако и отсутствие Хомяка нельзя было не обнаружить: встал его гнедко привычно за вороным конем казака Лезги, да только седло на нем пусто, без всадника.

– Отлучился в кусты по нужному делу – вот-вот прибежит, – усмехнулся Лезга и, перекинув длинную ногу через седло, расположился так, чтобы первым увидеть возвращающегося к отряду спутника. Однако не удалось казаку на сей раз посмеяться над нерасторопным мещанином: Хомяк так и не пришел, хотя прождали его довольно долго.

Кончилось тем, что нетерпеливый Мамат предложил трогать потихоньку – авось догонит. На это пан Ганнибал только бровь поднял, однако, еще немного подождав, подозвал к себе жестом Мамата, а когда тот, ломая конем кусты вдоль проселка, выехал в хвост отряда, промолвил тихо:

– Пане Мамат, неладно с парнем. Нужно вернуться, поискать. Я поеду с Тимошем, ты остаешься за старшего. Если и мы не вернемся, сам решай, как поступать. Только дай мне одного казака, чтобы был добрый лучник.

– Сделаем, пане ротмистр, – оживился казак и даже попытался улыбнуться любезно. – А почему пан не хочет взять с собою немца с мушкетом?

– Вонь от фитиля на милю разносится, будто сам не знаешь... А кстати, – повысил голос пан Ганнибал. – Огонь высекать, фитили поджигать! Тимош, ко мне!

– Эй, Бычара! Доставай лук, поедешь с паном ротмистром!

Пан Ганнибал уже посторонился, пропуская вперед невозмутимого Тимоша и побледневшего Бычару, судорожно цепляющего тетиву, когда снова поднял забрало своего шлема, повернулся к оставшемуся воинству и спросил спокойно:

– Ребята, а не слышал ли кто чего в лесу, пока мы тут дележкой забавлялись?

Переглянулись, помолчали. Потом Лезга заговорил неохотно:

– Я кое-чего слышал, пане ротмистр, коли не почудилось. Будто смеялся наш Хомяк.

– Смеялся, пся крев?!

– Может, и слышалось, пане ротмистр. Но хохотал.

Пан Ганнибал перекрестился, прошептал «Pater noster»², снова перекрестился. Опустил на лицо забрало, вытащил из ножен, притороченных к седлу, палаш, тронул поводья, выехал в голову дозора, а там пустил Джигита рысью.

² «Патер ностер» (лат.) – католическое соответствие православной молитве «Отче наш».

Долго трястись в седлах им не пришлось. Как и предполагал пан Ганнибал, Хомяка нашли прямо на проселке, пробитом в этом месте сквозь дубовую рощу. Скорченный, он лежал навзничь, нелепо выпятив голый белый живот, а когда пан Ганнибал поднял забрало и склонился над беднягой, увидел он, что сине-красное, распухшее лицо Хомяка искривлено в маске мучительной гримасы, зубы оскалены, а губы покрыты белесой пеной.

– Тимош, обыщи, – приказал пан Ганнибал, а сам, не пряча оружия в ножны, внимательно огляделся.

Окрестный лес вроде пуст. Однако... Пан Ганнибал резко обернулся. Показалось ему или нет, будто на ветвях большого дуба что-то блеснуло... Дуло мушкета? Нет, все как было. Джигит захрапел. Хозяин положил ладонь ему на шею, успокаивая. А кто бы его самого сейчас успокоил?

– Что там, Тимош?

– Да странно оно как-то, пане ротмистр... Это еще что? Кто-то бежал к ним со стороны отряда.

– Лучник! Не спи!

– А там наши, свои...

– Между нами и твоими «нашими» здоровый кусок леса, пся крев!

Однако прав оказался придурковатый казак, а не осторожный пан Ганнибал. Потому что из-за поворота показался отец Игнаций, запыхавшийся, в одной рясе.

Пан Ганнибал убрал палаш в ножны и подбоченился.

– Что, святой отец, опять тебя казаки из шубы вытряхнули?

– А? Нет, я сам оставил... на телеге у Федка... Просто мне рядом с тобой, пане... и с твоим Тимошем... спокойнее, чем среди этих схизматиков...

– Мещанин наш для исповеди уже не годится... Вон Тимош обыскал бедолагу. Сейчас расскажет...

– Позволь и мне посмотреть, сиятельный пане ротмистр... Я слушал лекции на медицинском факультете в Болонье...

– Да бога ради! А ты пока докладывай, Тимош, не тяни!

– А? Что, пане ротмистр? – Тимош с трудом оторвал выпученные глаза от монашка, что твой пес, со всех сторон обнюхивающего труп. – Странно оно как-то, говорю... Помер неизвестно от чего, однако ему помогли помереть, конечно. Потому как ограблен. По-дурацки, я извиняюсь, его ограбили. Будто сорока орудовала.

– Что ты несешь? Опомнись!

– Я извиняюсь, пане ротмистр, да только это суцая правда. Грабитель или грабители (не знаю, сколько их было) позарились только на блестящие вещи. Кольцо с руки стянули, крестик с шеи... Сабельку его плохонькую из ножен вытащили и унесли. А зачем было, спрашивается, вытаскивать? Вот ты, Бычара, ты как поступил бы?

– Да понятно как, – ухмыльнулся казак. – Снял бы пояс со всем добром, к нему подвешенным, – как же еще? И уж не оставил бы на покойнике этот славный кунтуш.

– Молчать, невежды!

Пан ротмистр поднял правую бровь домиком, а Тимош и Бычара изумленно переглянулись. Монашек вытер руки о полу славного кунтуша, неторопливо поднялся с колен и встал так, чтобы кони всадников прикрывали его от леса. Только тогда продолжил – неторопливо, глядя мимо собеседников, будто рассматривая что-то в самом себе:

– Дело в том, что только что услышанный мною диалог невежды и грабителя не касается главного для всех нас сейчас. Как погиб Хомяк? Обделался он, когда уже умирал, penis стоит. Умер от разрыва головных сосудов, произошедшего от излишнего прилива крови к голове.

– Пенис? – переспросил Тимош.

– Стручок, ну, член стоит у него, у мертвого, – дошло, наконец? Прав оказался Лезга, слух ему Господь даровал и вправду отменный. Хохотал Хомяк перед смертью и умер от хохота. Потому что защекотала его до смерти какая-то лесная сволочь. Я думаю, что сейчас эта мерзкая тварь прячется где-то рядом, ждет, когда мы уйдем. А поскольку она с трупом еще не успела наиграться, то пойдет за нами, если мы несчастного заберем с собою. Поэтому я на месте сиятельного пана ротмистра бросил бы Хомяка здесь, на месте, и не позволял бы почтенному пану Бычаре снимать с него кунтуш или сапоги. Кто знает, не рассердит ли это некрещеную тварь-убийцу?

– Да чтобы я, Ганнибал из Толочин Толочинский, герба

Топор, ротмистр его величества короля Стефана Батория, земля ему пухом... – Побагровевший пан Ганнибал закашлялся, потом продолжил уже сипло: – Чтобы я оставил труп воина из своего отряда, испугавшись какой-то лесной нечистой силы? Да не бывать тому, черноризец!

Монашек пожал узкими плечами:

– Осмелюсь напомнить храброму пану ротмистру, что он обещал доставить меня к царевичу Деметриусу безопасно, а со мною – и послание от святейшего отца нунция Рангони, куда более важное, чем моя ничтожная жизнь. Что же касается тела этого схизматика, то ведь началась война, а на войне, тем более в таких глухих местах, останки многих и лучших христиан остаются не погребенными. К тому же...

– Смотрите, да смотрите же... – захрипел вдруг Тимош.

Не было нужды Ганнибалову оруженосцу и показывать, куда стоило его спутникам посмотреть. Ибо в двух саженьях от головы резко отшатнувшегося и едва не вставшего на дыбы Джигита вдруг закачалась дубовая ветка. Так внезапно и резко закачалась, будто только что спрыгнуло с нее невидимое, однако достаточно увесистое существо.

Глава 5

Пособит ли Лесной хозяин?

Сопун, повисший на Змее, и хмурый мертвец Серьга бредли проселком довольно долго, как показалось Змею, к пешим переходам непривычному. Наконец, Сопун прохрипел: – Здесь. Налево, между кустами...

И в самом деле, когда старый Серьга раздвинул кусты можжевельника, обнаружилась еле заметная, вроде звериной, тропка, которая и привела к березовой рощице. Мертвец, не теряя времени, тут же принялся валить молодые березки кругом, верхушками в середину, а Сопун и Змей присели отдохнуть. Когда закончил мертвый батька работу, спросил Сопун почтительно:

– А кому из нас вызывать Лесного хозяина – мне или тебе, батя?

– Я думаю, что мне сподручнее. Лесной хозяин – мой давний знакомец, это раз. А если станет душу за свою услугу требовать, так тебе, сынок, свою лучше побережь. Я ведь душу и без того давно загубил, а как принялся мертвецом по белому свету шататься – о чем разговор? Это два.

– Тебе виднее, батя.

Тогда мертвец встал в середину круга на верхушки березок, гулко откашлялся и завопил утробно:

– Лесной хозяин! Пришел я, Серьга, к тебе с поклоном, вспомни, великан, со мною дружбу!

Недолго пришлось ждать из лесу ответа. До того день разгорался теплый, погожий, а тут сразу же пахнуло холодом. Вроде как вихрь промчался верхушками окрестных дубов и березок, а там и весь темный лес зашумел. Затем на севере раздался треск сучьев, глухие удары тяжелой поступи, и явились над верхами самых высоких дубов голова и плечи великана, неуклонно приближающегося к рошице.

Голова круглая, непокрытая, глаза голые, без бровей и ресниц, так и блестят, борода и волосы на голове зеленые. Когда остановился великан с дальней стороны святого круга из березок, увидели путники, что одет он будто обыкновенный крестьянин, вот только бараний полушубок на нем подпоясан широким красным кушаком и с левой полою, запахнутой на правую, а не наоборот, как у добрых людей.

Едва успели путники обсмотреть великана, как он гаркнул – и столь громко, что с дубов и с березок слетели еще не упавшие желтые листья, Сопун присел, а из Змея посыпались красные искры, оба оглохли на время, и только Серьга, неподвижный, как старинный каменный истукан, услышал и понял все, о чем оповестил своих гостей рассерженный леший. А Лесной хозяин рассердился, что потревожили его на пороге зимы, когда готовится он уйти на зимовку в теплые подземные палаты.

– Не веди казнить, веди миловать, Лесной хозяин, – загу-

дел в ответ мертвец. – Не осмелились бы мы тебя потревожить, если бы не несчастье у нас. Сожгли злые вороги наш хутор, ограбили напрочь, а весь мой род замучили – вот только старший сын мой, Сопун, из колодца-могилы выбрался и со мною еле прибрел.

Тогда вдруг уменьшился Лесной хозяин до роста своего собеседника, и только для изумленных глаз зрителей, не успевший разглядеть это превращение, повис на какое-то мгновение в воздухе размытый и прозрачный силуэт великана. А Лесной хозяин закричал уже не столь оглушительно, однако же громко, потому что тихо говорить он просто не умел:

– Как же это я не узнал вас, мужики, и тебя, Огненный Змей? От гнева глаза мне слезами застило, вот почему... Да, большое, видать, несчастье случилось, если ты, старый мой знакомец Серьга, из могилы своей поднялся, а ты, Сопун, ни жив ни мертв и сам себя подлечить не можешь... А пива нет ли у вас с собою, мужики?

– Мы привезли бы тебе, ведомо ведь нам, как пиво любишь, – да вороги все выпили, а хутор на пепел обратили.

– И что же – все твои бабы погибли, Сопун, – и женка твоя, и дочка-красавица на выданье, и любимица твоя – вострушка-подросток Ксанька?

– В другое время едва ли бы мне понравилось, Лесной хозяин, что ты бабу мою и всех девок помнишь: знать, задумывал ты против них свои бесстыжие каверзы. Да только те-

перь не о чем нам ссориться, потому что умерли они все злой смертью, – подумав, с расстановкой ответил колдун. – Но почему ты не спросил, помиловали ли злодеи сына твоего, которым ты подменил десять лет тому назад нашего с покойницей Марфой младенца?

Как это ни удивительно, но леший смутился. Присел он на сломанную березку, спиной упершись в ствол живой, побряхтел-побряхтел, в землю взгляд свой потупив. Потом прокричал, глаз по-прежнему не поднимая:

– Так, выходит, догадались вы с хозяйкой, что мой был подкидыш?

– А как было не догадаться, Лесной хозяин, если лицом младенец был твое точное подобие, волосы имел торчком, что и не причешешь никак, а прозорлив был, ты уж меня прости, втрое против человеческого дитяти? Да еще сказал нам, что зовут его Вершком, в том возрасте сказал, когда людские младенцы только укают да гукают.

– Тогда почему же вы с Марфой не выкинули моего сынка в лесную чащу?

– Да потому что нашего младенца ты к себе забрал, а мы надеялись обменяться в конце концов. Знаю я, что такие подкидыши в лес убегают, когда одиннадцать лет им стукнет, а твоему Вершку уже десять этой зимой исполнилось, и подметил я, что он начал в сторону леса посматривать.

– Ну что ж ты?.. Почему не говоришь? – прокричал леший. – Считай, что я уже спросил тебя, Сопун.

– А... Нет, не могу я тебя порадовать, Лесной хозяин. Все убиты, всех порешили иноземцы, всех наших в колодец бросили. И твой сынок не сумел им глаза отвести – или уж не знаю, как там у него вышло...

Леший зарыдал в голос, поднялся на ноги, подошел к колдуну и, продолжая рыдать, обнял его. Глядя на них, Огненный Змей крепился-крепился, да и сам заплакал. А мертвец потоптался возле безутешных отцов, а потом не выдержал, подошел и обхватил их длинными своими руками.

Потом Лесной хозяин осторожно похлопал Сопуна по здоровому плечу и все еще плачущим голосом прокричал:

– Сейчас мои слезы тебе на рану попали, затянется вскоре твоя рана. А чтобы силы к тебе вернулись, дам я тебе своего снадобья.

И леший принялся срывать с можжевельника синие ягоды, а когда набрал их в левой горсти довольно, раздавил между ладонями, растер, поплеывая в мякоть зеленой своей слюной, затем скатал сине-зеленую лепешку. Помял-помял ее и протянул колдуну на явно посветлевшей мохнатой ладони:

– Съешь ее, всю сразу. А пива у вас нет ли с собою?

Сопун, и мгновения не поколебавшись, принялся разжевывать кислую лепешку. Украдкой отогнул он ворот рубахи, чтобы поглядеть под левую ключицу: там рассосалась уже тупая боль. О ране напоминал только рубец, зато седая поросль на груди колдуна окрасилась в буро-зеленый цвет. Вздохнул

Сопун: дареному коню в зубы не смотрят. Тем временем и сил в руках-ногах у него прибавилось.

А леший вернулся на прежнее свое место и рукой гостям показал, чтобы тоже сели. Потом вытер правым рукавом глаза и, не оборачиваясь, гаркнул:

– Эй, Михайло свет мой Придыбайло! Кончай втихаря подслушивать. Не стесняйся, выходи к людям. Свои они. Друзья.

Тотчас из-за могучего дуба появился огромный медведь, присел, как человек, на корточки по правую руку от Лесного хозяина. Приложив лапу к мохнатой груди, наклонил он голову и прикрыл маленькие умные глазки. Потом принял первоначальное положение и принялся рассматривать гостей.

– Видали? – хвастливо спросил Лесной хозяин. – Мой Мишка и не такое умеет. Он сбежал из ватаги скоморохов, когда через лес проходили, вот я его и прозвал Придыбайлой. Клыки у бедняги были выбиты, так я ему новые приспособил, кабаньи. Михайло Придыбайло, покажи!

Медведь послушно разинул пасть, со стороны поглядеть, так поистине смертоносную. Колдун нарочито отшатнулся и притворно охнул.

– Ладно, я же понимаю, что вы мне не только злую весть принесли, – прогремел Лесной хозяин. – Мстить, что ли, надумали, мужики?

– Зубами грызть супостатов, – загудел мертвец.

– И то, – быстро произнес колдун. – Мы тебя просить хо-

тели, чтобы ты обидчиков наших задержал в Черном лесу, покуда мы соберемся да их догоним. Поводи их кругами, ты ж это любишь, а еще лучше заведи их в болото, чтобы застряли у них телеги и кони! А мы пока поспешим в мою лесную избушку: мазь там у меня волшебная... О, прости! Спасибо тебе, вылечил ты меня, а вот должны мы там еще разжиться оружием и одежкой какой-никакой...

– Я уж и призабыл, как любишь ты поболтать, Сопун, – ухмыльнулся Лесной хозяин, показав кривые желто-зеленые зубы. – О чем речь? Ваши враги – мои враги. Из Черного леса им двое суток не выйти теперь, а застрянут они в Жилинском болоте... А ты, Михайло Придыбайло, даром времени не теряй! Будь другом, смастери волокушу из этих березок, чтобы напрасно тут не гнили. Чтобы на ней можно было вот его, богатыря Серьгу, потащить и чтобы лошадь можно было запрячь, а пока, не обессудь, сам потащишь.

Медведь тут же поднялся на задние лапы, присмотрелся к лежащим березкам и, порывивая от усердия, принялся стаскивать их в одно место и прикидывать, как устроить волокушу.

– Напрасно ты это, Лесной хозяин, – прогудел мертвец.

– И вовсе не напрасно, ты сам сейчас поймешь. Сколько их там было, супостатов?

Мертвец развел руками. Сопун закатил глаза, на пальцах подсчитывая. Пояснил неохотно:

– Не до того мне было – ворогов считать, когда головня-

ми в меня, связанного и оглушенного, тыкали... От десятка до дюжины разве... Латинский монашек там бегал, однако он без оружия... Два немца в шляпах и с длинными пищалями, один гусар в полном железном доспехе... Остальные все вооружены до зубов, это точно помню. Вот еще: были и чубатые казаки...

– Если запорожцы, то каждый гусара в доспехе стоит... А вас двое всего. Тебя, девичий угодник, я не считаю – ты не боец!

– Это мы еще посмотрим, лесной ты урод, – вскочил и подбоченился Змей. – А насчет девичьего угодника – от кого я такое слышу, спрашивается? Кто из нас девок ворует, когда они в лес по грибы забредут? И дома у себя разве не ты вокруг уворованной девки крутишься, потчuya ее своей кашей? Чтобы поела твоей еды и тогда у тебя навсегда осталась, а не вернулась к людям с ребеночком! Ты, леший, девичий угодник и есть!

Тут Сопун, невольной телесной радостью веселясь от того, что его члены снова двигаются легко и просто, поднялся с земли и силой усадил Змея. Сам снова сел. Тем временем рассердившийся не на шутку Лесной хозяин принялся раздуваться и снова ушел головой под небо. А путникам оставил для лицезрения свои огромные ноги в онучах и лаптях, уже растрескавшихся от носки, да и напаяленных не по-человечески: лапоть, разношенный некогда на левую ногу, был теперь на правой ноге, а правый – на левой. Впрочем, леший,

как всем известно, сердит, да отходчив...

– Скажи спасибо, Змей, что ты у меня в гостях, – прокричал сверху леший. – А у вас, как ни крути, всего пара бойцов, и пока я не вижу никакого оружия. И волокуша не роскошь, друг ты мой Серьга. Вот уж не знаю, ведомо ли сие тебе или нет, но недолго осталось тебе бродить по земле.

– Ох, ведомо, Хозяин, ведомо! – склонил голову мертвец. – Пиво меня давно не веселит, а о других бедах гниющей моей плоти и сказать стыдно.

– Поэтому и надо будет тебе силы до битвы сохранить. Поедешь в волокуше и не спорь. И еще я отправляю с вами своего Медведя.

Эти слова услышав, Михайло Придыбайло оставил уже почти сплетенный из березовых ветвей помост для волокуши, встал на задние лапы и, снова разинув пасть, передними принялся бить себя в грудь. Его хозяин, чтобы наблюдать удобнее любимца, вернулся к обыкновенному своему облику.

– Молодцом, Миша! А лучше всего я сам утоплю их всех по-тихому на Гнилище, в топи.

– Рвать на куски вот этими руками, – выставил вперед мертвец пудовые свои кулаки.

– Нет, спасибо, Лесной хозяин, – подхватил его сын. – Мы отомстим, как в священных книгах написано: око за око, боль за боль, позор за позор. И никакого человеческого погребения для этой мрази. Только так.

Медведь тем временем вернулся к своей работе, а его хозяин и приятель принялся размышлять вслух:

– Двое с Медведем – против дюжины вооруженных до зубов иноземцев? Ох, боюсь я, поляжете вы напрасно... Я выходил на большую дорогу, к Бакаеву шляху, когда главное войско иноземцев проходило, сидел в кустах. Сам невидимый, я присматривался и прислушивался. Чужие запахи, чужая речь... Много немцев и поляков. Ну, поляков мы видали, они в драке заядлые, однако и понять их можно, хоть и вера у них не такая, как у вас. А вот немцы меня просто испугали: пищали у них длиннющие, все на своем месте лежит. Нет, вы только представьте себе, мужики! Всякая мелочь в особой сумочке помещается, а для того те сумочки везде на одежде и на перевязи такой широкой пришиты – нет чтобы как у людей, к поясу прицепить! Видел – издалека, правда, – как стреляли они по русской пограничной страже, когда пытались наши стрельцы сжечь наплавной мост через Семь³. Где нашим стрельцам до их стрельбы – нечеловеческая у немцев выучка!

– Пугай-пугай, Лесной хозяин! От мести все одно не отговоришь, – махнул на него громоздкой рукою мертвец.

– Кто же вас от мести отговаривает? Да и сам желаю им отомстить... Только по-умному надо, в открытый бой не вступая, а ворую их по одному. И еще меня этот их чернец смущает. Вы же, друзья, своих, православных, чернецов и

³ Старинное русское название реки Сейм.

попов сторонитесь – разве я не прав?

– Да, так оно для всех лучше, – кивнул колдун. – Впрочем, я бы и в ихнем пекле не пропал, вот только отогрелся бы за все здешние жестокие зимы. А если без шуток, так наши попы с чернецами вас, лесную и водяную нечистую силу, просто в упор не видят. В черте они хоть своего беса признают, а про вас говорят, как про вовсе не существующих, что вы суеверие одно.

– Ври, Сопун, ври – да не завирайся! – загремел Лесной хозяин. – Это я-то не существую? Надо же было такое придумать...

– Пожалей наши уши, не кричи на меня, потому как не моя выдумка, а поповская. А явись сюда попик, он бы пояснил, что вас с Огненным Змеем, равно как и бати моего покойного, вовсе и нету здесь. А привиделись вы мне потому, что ударил меня иноземец прикладом по затылку, и приключилась со мной головная лихорадка.

И тут странная вещь случилась с красноречивым Сопуном. Притихли лесные звуки в его ушах, а перед глазами вверх-вниз дернулась березовая рощица – да и растаяла в воздухе. И представилось ему, что лежит он в собственном колодце, своими руками вырытом, над головой – синий квадрат полуденного неба, а на нем звезды, вокруг ледяная вода и трупы родных, и будто слаб он настолько, что не может снять с груди холодную руку мертвой жены своей Марфы.

Встряхнулся тут Сопун, словно мокрый пес, сбросил на-

важдение – и снова увидел ту же березовую рощицу, а за нею верхушки вековых дубов и услышал со всех сторон хохот. Хохотал Лесной хозяин – и так же громоподобно, как в гневе, кричал; хихикал, ладошкой в красивой, ладно на руке сидевшей перчатке рот прикрывая, Огненный Змей; смеялся богатырь-мертвец, будто в пустую бочку кулаком бухал; Медведь, ухмыляясь во весь свой страшный рот, хлопал лапой об лапу, будто в ладоши бил. И веселился, скромнее и тише иных, даже лес: тот, своему хозяину подхихикивая, эхом возвращал посланные в него звуки.

– Меня нет – и не было никогда! Надо же! – прорычал между приступами громового смеха Лесной хозяин. – А кто же тогда помнит времена, когда этой же большой дорогой скакали на запад косоглазые людишки в кожах и с одними луками только, а возвращались из Польши с мешками правых ушей, для своего царя с мертвых ляхов срезанных? Когда проезжали тут на восток ватаги литовских и польских панов, усатых и в кунтушах? Дуб сей тысячетный запомнил это – или все-таки я?

Тут Сопуна передернуло: его словно бы вдогонку достал ледяной рукой смертельный холод из только что почудившегося видения. Мертвец булькнул в последний раз, Змей хлопнул обеими руками по полам, а Лесной хозяин помолчал, остаток смеха в своей груди смиряя, и заявил:

– Эх нас от дела отнесло! Всего только хотел я предупредить: а вдруг латинский чернец знает особые молитвы – и

против тебя, православный ведун, и против нашего брата, не-су-щест-ву-ю-щих лесных, водяных да воздушных? Изловить его первым – и на осину!

Тут Медведь, успевший, с людьми и духами повеселившись, и споро волокушу доделать, вдруг зарычал, лапой на восток показывая. Хозяин его принюхался, ухмыльнулся.

– Кстати, и волокушу испытаеть, Михайло Придыбайло. Там, совсем немного проселком пройти, любопытнейшие вещи происходят.

Лесной хозяин шагал столь широко, что спутники его, как ни спешили, отстали. Первым догнал его Медведь, остановил волокушу (мертвец с проклятиями скатился на землю), побежал на четырех лапах в ту сторону, куда ушли оставившие свой враждебный запах иноземцы, встал на задние лапы, прикрывая своего хозяина, и зарычал.

– Ничего не скажешь, Михайло свет Придыбайло, возчик с тебя хреновенький, не то что плотник, – громогласно балагурил Лесной хозяин, присевший на корточки возле скорченного трупа парня лет тридцати в мешанской одежде. – А ты, горожанин, весело помер, ничего не скажешь... Шапку, кунтуш и сапоги ты уже не пожалей, подари нашему Сопуну, замерзает мужик, а сорочку и портки загаженные можешь себе оставить... Эй, мужики, сюда! Укройте за моей спиной про всякий случай. А ты, Зелёнка, явись сейчас же пред мои очи!

– Очень мне надо, дяденька! И я, может быть, стыжусь как

честная девица, – прозвенело по лесу, вроде как со всех сторон. – С тобою столько мужчин, глаза разбегаются... И такой пригоженький пришедши, что прямо бы съела, как пряничек.

– Ох, Зелёнка, не испытывай мое терпение, короткое оно! Не явишься сейчас, поймаю и так задницу надеру, что и на ветку присесть не сможешь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.